АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ЗГА

ВОЛШЕБНЫЕ РАССКАЗЫ



MCMXXV

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ЗГА

ВОЛШЕБНЫЕ РАССКАЗЫ



ПРАГА

Издательство
ПЛАМЯ
В ПРАГЕ
под общим
руководством
профессора
Е. А. ЛЯЦКОГО

1925

LEGIOGRAFIE
Praha-Vršovice Sámova 665

Посвящаю

С. П. РЕМИЗОВОЙ-ДОВГЕЛЛО

З Г А

ЖЕРТВА

1

Вот уж по совести всякий, кто бывал в Благодатном, не покривит душой, помянув добром старое Бородинское гнездо.

И не в насмешку с испокон веков дано ему такое прозвище. Лучшего, сколько ни мудри, не придумаешь. И хоть никакого винограда в садах его не цвело и не зрело, и райские птицы не пели, а уж, как есть, — ну благодатное:

сама благодать Божья разливалась по его доброй земле!

Старый с колоннами дом, кленовая аллея, фруктовый сад, поля, лес, скот, люди — все Благодатненское приводило в восхищение не только соседей, но и любого наезжавшего с других краев и по делу и так себе, да того же фыркающего подстриженного петербуржца и растрепанного избалованного москвича.

Дом полная чаша, лад и порядок.

Ей-Богу, пчеле на зависть!

Сам Бородин, Петр Николаевич, известный чудак и такой балагур — поискать да мало: где-б он ни появился, в любом обществе и когда угодно, стоило ему раскрыть рот, и уж хохот не умолкал.

Хохотали знакомые и незнакомые. Безразлично.

А странно было лицо этого совсем седого, ничуть не меняющегося балагура. Шли годы, перевалило ему за сорок, а одно и то же выражение, словно отпечатанное раз навсегда, лежало на его неподвижных, застывших чертах.

И странно, когда, надрывая живот, всякий со смеха покатывался по полу, лицо мертвенно-бледное чудака оставалось спокойным — ни улыбки, ни смеха, только жуткие блестки во впалых остановившихся глазах.

И не менее странно, что речь его, сбивавшая все и всех с панталыку, отдавала каким-то механизмом, как у говорящей куклы. И когда кто-то попробовал записать эту речь, то на бумаге вышли самые простые ходовые слова и уж совсем не смешные.

И, несмотря на такой, казалось бы, неподходящий вид Петра Николаевича Бородина и неуместность каких-либо шуток, никому в голову не приходило спросить себя:

> в чем же тут секрет, и отчего бывает так смешно и весело?

Только редкий любитель отгадывать загадки, — такой всегда найдется, — зарвавшись пытался давать объяснения, метя, как это водится, не в бровь, а в самый глаз: тут и игра физиономии, и искусная мимика, и необыкновенно смехотворный склад речи, и необыкновенно острый взгляд, — ясно, явно, понятно.

К счастью, все подобные, набившие оскомину объяснения шли куда-то в прорву: никто ничего не хотел спрашивать, да и незачем было. Смешно, весело — чего еще?

Петр Николаевич нигде не служил и никакими общественными делами не занимался. Одно время выбрали его уездным предводителем.

Это памятное Бородинское предводительство скоро всякому вот где стало! Не оттого, чтобы там плохо было или неприятность какую от него видели, совсем напротив. Веселее года не запомнят: все дела были обращены в какую-то потеху, в один сплошной смех и умору, но в результате такая вышла путаница, такие всплыли несуразности и еще, Бог знает, что — не расхлебаешь. И, не знай Петра Николаевича, чего доброго могли бы в лучшем случае заподозрить, что он не в своем уме, да так, кажется, в Петербурге кто-то и выразился не то в гостиной, не то на докладе. Только, счастьем, все окончилось благополучно.

Живой человек не без странностей, у всякого своя повадка.

Ну и Петр Николаевич не исключение.

Петр Николаевич до страсти любил все прибирать к месту, притом так все хитро делал, что после найти прибранную вещь черезчур мудрено было, а то и совсем невозможно:

много вещей пропадало и очень нужных.

Затем он любил наводить порядок, передвигая

с места на место столы, стулья, этажерки, перевешивая картины, переставляя в библиотеке книги, в чем собственно и заключались его постоянные занятия с утра и до обеда ежедневно.

За обедом, предпочитая кушанья сладкие, как потроха, мозги, ножки, и не зная меры, он частенько объедался и потому вечно жаловался на живот.

Любил он топить печи — все зяб — и с длинною кочергой расхаживал обыкновенно от печки до печки, помешивая жар.

Любил он поговорить с прислугой и мужиками и, хотя разговор всегда начинался словно бы и о делах, но в конце концов выходила одна чепуха, что влекло за собою очень нежелательные для общего порядка и грустные последствия:

> Петра Николаевича не только никто не боялся, но — что уж таить! — веры ему не было.

Кроме того, дуря и чудя, он обещал прямо-таки неисполнимые вещи: всем и каждому он дарил свою землю, правда, меру не очень крупную — три шага в длину и шаг в ширину — такой шутовской кусок.

Что еще? Да... у него была страсть резать кур, и резал он кур не хуже заправского повара: птица у него с перерезанным горлом не хлопала крыльями и не бегала безголовая, как это часто бывает от нелегкой руки.

И еще он любил посмотреть на покойника, и

чем отвратительнее было лицо мертвого, чем сильнее чувствовалось разложение, тем находил он покойника привлекательнее. Всякий раз, когда на селе умирали, батюшка о. Иван давал знать Бородиным, тотчас закладывался экипаж, и Петр Николаевич, все бросив, летел к тому месту или в тот дом, где случался покойник.

Такого рода страсти, как выражалась Александра Павловна, труня под веселую руку над своим избалованным мужем, в котором, кстати сказать, души не чаяла, страсти Петра Николаевича касались в действительности таких чисто домашних подробностей, что упоминать о них представлялось бы совсем излишним, если бы не припутался сюда один вздорный слух, задевающий честь и репутацию всего Благодатного.

Года два назад в Благодатное заехал один старый приятель Петра Николаевича, тоже бывший петербургский лицеист, не видавшийся с своим другом с самого Петербурга.

Причина появления такого гостя так и осталась невыясненной; у него никто не спрашивал, а его камердинер толковал в лакейской очень сбивчиво, — не то генерал был послан усмирять, не то делить землю. Впрочем, все это не так уж важно: разве не мог старый приятель приехать просто из любопытства?

Гость был принят радушно. Встретила его Але-

ксандра Павловна, сожалевшая, что в Благодатном не все в сборе — дети разъехались, и что ему будет скучно. Но гость был так весел, много рассказывал о Петре Николаевиче, о той тесной дружбе, какой они были связаны в Петербурге в ранней молодости, и кажется, ни в каком обществе не нуждался, с нетерпением ожидая своего друга.

Петр Николаевич, как на грех, с утра пропадал где-то на деревне у какого-то покойника и только поздно вечером вернулся домой.

Друзья встретились.

Но тут произошло что-то неладное. Видно было, что гость потрясен, испуган, что у него поджилки трясутся.

Или не узнал он своего друга, — или и узнал, но нашел такую перемену, что голова пошла кругом, — или заметил в лице, в поступи и в речи старого своего приятеля что-нибудь совсем для себя неожиданное, невероятное, невозможное, — в чем же дело? —А кто-ж его знает!

Гость отступил на шаг и, замахав руками, вдруг лишился чувств.

Молчаливый и печальный, подозрительно озираясь и поддакивая на все, что бы ни говорилось, и с той жалкою улыбкой, какою улыбаются люди, попавшие нечаянно-негаданно в самые обыкновенные житейские тиски, которые всякую минуту могут смять тебя в лепешку, гость прожил с неделю, и в

одно прекрасное утро, лопоча какую-то ерунду и показывая какие-то бумаги вверх ногами, остервенелый, чуть ли не в одном белье и без багажа, ускакал из Благодатного.

А вскоре после его отъезда и пошли суды и пересуды и в городе и среди соседей.

Говорилось, что ничего особенного в Благодатном нет, что Бородинский прославленный дом, как дом, да, пожалуй, даже с изъяном — одна половина очень заметно заново переделана после пожара; ну и сад, как сад, старый, тенистый — правда, но таких садов, если поездить по России, сколько хочешь; поля, лес — что говорить — поля просторны, лес хороший, да тоже не какая-нибудь невидаль; а люди — даже совсем дрянь: беднота, земли мало, то переселялись, то опять вернулись, а во время беспорядков, если дом не сожгли и лошадям глаза не повыкололи, как это сделали у соседа Бессонова, то все-таки поговаривали и о том, чтобы дом сжечь, добро истребить да отобрать Бородинскую землю. Что же касается Петра Николаевича, то, перечисляя все его странности, несли такую крещенскую белиберду, что просто повторять совестно.

И в конце концов заказывалось другу и недругу даже в самой крайней нужде бывать в Благодатном:

место нечисто.

Кто-то из добрых друзей советовал Александре

Павловне жаловаться губернатору, но она и слышать не хотела. Во всех слухах, на ее взгляд, правды ни капли не было, да и не стоило историю подымать.

В самом деле, мало ли что какой-нибудь подозрительный с своего подозрительного ума не сочинит и не выдумает — ему бы только валить с больной головы на здоровую!

Да притом же и разговоры как-то само собою прекратились — все-таки люди не так глупы, как кажутся.

И у всех одно осталось в памяти: Благодатное — рай земной, семья Бородиных — примерная, Петр Николаевич — известный чудак и такой балагур, поискать- да мало.

Глава дому — Александра Павловна Бородина. Ее бдительному глазу приписывались порядок и обилие Благодатненского хозяйства. Твердого характера, скупая на слова, умела Александра Павловна держать всех в струнку и не потакать. Ее боялись и слову ее верили. Замуж она вышла рано, по любви, и с первого же года замужества пошли дети: сын и три дочери, все погодки. Жизнь Александры Павловны проходила в заботах и делах, которых с каждым годом, по мере того, как подрастали дети, и отношения хозяйственные путались и усложнялись, все прибывало, и так получалось, что забот не оберешься и всех дел не переделаешь. Но она готова была взвалить себе на плечи какую угодно тяжесть, лишь бы хорошо

было мужу и детям. И никто не жаловался — ни муж, ни дети.

Вечерами, счастливая и веселая, она садилась за рояль: сильные пальцы ее, уверенно касаясь клавишей, вызывали большой праздничный звук — силой и радостью наполнялись высокие комнаты.

И с какою завистью подсмотрел бы отчаянный бродяга из тьмы своего бездомного белого света в освещенное окно на нее, довольную своим кровом, и каким проклятием проклял бы свою судьбу неудачник, случайно встретив ее счастливый взгляд, и с какой покорностью и верой, заслышав ее голос, пошел бы за ней тот, кто ищет себе поводыря!

Контр-адмирал Ахматов, чье суждение, по меткости своей, облетало все без исключения усадьбы и повторялось городскими щеголями, крестный отец младшей, Сони, называл Александру Павловну обольстительною брюнеткой. И, как всегда, был прав.

И кто бы мог поверить, что эта «обольстительная брюнетка», сумевшая устроить дом и жизнь дома — тихий, согласный очаг, почувствовала себя однажды самой несчастной из людей. Правда, с тех пор утекло много воды, удача и счастье стерли всякую память, а в душе ее осталась только радость, только одна уверенность в себе и в своих силах.

Пятнадцать лет назад, в год рождения Сони, Благодатное вдруг очутилось на волоске от гибели —

дом чуть было не сгорел, Петр Николаевич чуть было не умер. И всех спасла Александра Павловна.

Осенью, в зимние месяцы, когда разъезжались дети, Александра Павловна проводила время только с мужем.

Она смотрела на него так, как двадцать лет назад, с тою же любовью и нежностью, и видела его таким, как был он двадцать лет назад, влюбленным, и складка, явственно означавшаяся между ее темных бровей, сглаживалась.

А он, высохший, длинный, как жердь, седой, с мертвенно-бледным лицом, уставясь своими неподвижными в жутких блестках глазами, стоял перед нею, оскалив зубы.

— Я тоски не знаю, — повторял он в тысячный раз, — мне легко!

А в голосе слышалось:

«мне все равно, мне ничего не надо».

Но она не слышала этих жутких слов, они звучали ей, как те, тогда под первый поцелуй, и она, слепая от любви, отвечала ему страстью сохранившейся женщины.

Ой, как хохотал бы подглядевший в такие минуты через окно над этой уморительной, сумасбродною сценой. Но, кто знает, возможно, что, и не пикнув, лишился бы чувств, как тот гость, генерал — старый друг Петра Николаевича.

2

В Благодатном готовилось большое событие.

На Матрену Зимнюю назначена была свадьба старшей дочери Лизы, окончившей весною институт. Жених был известный крупный помещик Рамейков. Все ждали с нетерпением этой свадьбы. Рассказывали, что пир выйдет на славу, и что Петр Николаевич перерезал чуть ли не всех кур!

Благодатное принимало торжественный вид. Гости съезжались загодя, и не мало очень почтенных лиц прямо обезживотели в обществе Петра Николаевича, который казался особенно в ударе на росказни и зубоскальство. Александра Павловна сбилась с ног. Все надо было приготовить. Рук не хватало.

Наконец, собралась вся семья: из Петербурга приехал старший сын Миша — студент-первокурсник, из Киева вторая дочь, институтка Зина, и гимназистка Соня из губернского города. Наступала важная минута. И, надо отдать справедливость, свадьба вышла веселая.

Конечно, не обошлось без шутовства. Благословляя образом перед венчаньем, Петр Николаевич, видимо, собирался сказать напутствие, но после довольно томительного молчания ограничился кратким и весьма непечатным пожеланием в одно слово, и от этого крепкого слова жених едва поднялся на ноги — смех буквально душил всякого.

В церкви Петр Николаевич шепнул батюшке, о. Ивану, что во сне я й ц а в я м е видел, и хотя о. Иван не мог не знать дурного значения сна, но тогда показалось ему все в высшей степени несообразным. И так все были настроены, что о. Иван не выдержал и, оборвав молитву, фыркнул на всю церковь, а за ним дьячек, державший «теплоту», заржал уж без всякого стеснения, и — пошло: не то венчали, не то гоготали, как в балагане.

После свадебного ужина молодые уехали в Москву.

Но в Благодатном веселье продолжалось. Весь пост прошел как-то не по постному. А на святках молодежь затеяла спектакль, рядились, ряжеными ездили по соседям. На пруду сделан был каток и горка. Тут на катке устраивались отчаянные состязания.

Миша Бородин считался первым конькобежцем. И, действительно, стройный и необыкновенно гибкий, с поразительной ловкостью и искусством он проделывал головоломные фигуры. Не отставала и Соня, девочка быстрая — огонек, а ее звонкий смех разливался заразительно звонко в Крещенские звездные ночи. Любо было смотреть на эту пару, когда об руку они бежали с горки до дальних верб. Этого нельзя сказать о Зине: Зина имела больше сходства с Лизой и, как Лиза, была сдержана и молчалива, пожалуй, даже застенчива, но не без характера.

«В мать дети пошли», — отзывались тетушки и дядюшки и старые знакомые, хорошо знавшие Александру Павловну.

Подходило Крещенье. Товарищи Миши и подруги девочек стали разъезжаться.

И Бородиным уж пора было готовиться в путь, но в деревне было так хорошо, что об отъезде не хотелось и думать.

Под Крещенье Миша и Соня, когда зажглась Богоявленская звезда, выбежали на каток, где проводили они последние свои вечера.

Ночь выдалась светлая, вся усыпалась звездами, и мороз ударил так, что лед трескал, морозами щипало щеки.

Они рады были хоть всю ночь бегать!

Набегавшись, решили прокатиться в поле. Миша взялся править.

Но только что выехали они из ворот, лошади понесли.

Миша, вылетев из саней, ударился головою о забор, Соня упала в снег.

На крик сбежались. Мишу подняли и отнесли в дом. Бросились за докторами.

К утру Миша помер.

Вот было горе!

В день похорон вечером, когда в доме было особенно пусто и всех одолевало то тягостное утомление, от которого и дело из рук валится и места себе не на-

ходишь, в Благодатное с нарочным получилась телеграма от Рамейковых:

Александра Павловна вызывалась немедленно в Москву.

В ту же ночь Александра Павловна уехала.

Зина и Соня были в большой тревоге.

Петр Николаевич напротив: он попрежнему, как ни в чем не бывало, продолжал свой образ жизни.

Разница была разве в том, что кур резалось больше. Но это объяснялось тем, что Зина, простудившись на похоронах, все недомогала и ее надо было держать на диэте.

Да еще — ну это чудачество! — к обеду велено было подавать большущий бычачий язык.

Наконец, из Москвы пришло известие:

Лиза умерла.

Вот было горе!

Второго покойника опустили в Бородинский склеп, а в доме стало уж так пусто и уж так тягостно, — Александра Павловна бродила, как тень.

Она не могла простить себе, что так легко согласилась на этот брак, когда знала всегда Рамейкова за человека легкомысленного и даже подлого, да, подлого — почему не отговорила Лизу? Ведь Лиза ее послушалась бы. Да, она сумела бы убедить Лизу, она знала много самых отвратительных, самых постыдных фактов, о которых шептались посторонние даже у них в доме в день свадьбы.

Но теперь было уж поздно: и простишь ты себе или не простишь — делу не помочь.

Александра Павловна чуть не кричала.

Петр Николаевич выглядел несколько утомленным, но едва ли причиною был сам по себе факт смерти.

Смерть сына, как и смерть дочери, вызвали в нем то обычное для него чувство любопытства, какое он испытывал вообще к покойникам и не к таким, а к совершенно ему неизвестным.

Утомление сказывалось скорее от бессонной ночи.

Гроб привезен был в Благодатное закрытым, но он настоял, чтобы гроб вскрыли. И, когда сняли крышку, он уж сам открыл лицо дочери и простоял над нею, не отрывая глаз, ночь.

Теперь в своем зеленом, бутылочного цвета, халате Петр Николаевич дремал в кресле.

Так прошла ночь после похорон.

Состояние Зины между тем ухудшалось. Она слегла. Вызванные доктора сказали, что у нее что-то в роде дифтерита. И все Благодатное затаилось, дожидаясь рокового кризиса. Кризис наступил. Созвали консилиум. Безнадежно.

В доме заведен был строгий порядок, и обычно, когда съезжались дети, этот порядок поддерживался ими с их раннего детства: так Лиза ухаживала за цветами, Зина кормила попугая.

Теперь за цветами ухаживал старый камердинер Михей, а попугай кричал от голода.

И видно было, Зина все помнила, и ее это мучило, и еще мучило ее то, что больная, лежа уж неделю в кровати, она нарушает какой-то порядок, и лучше было бы, если бы отвезли ее в город, но сказать об этом она не могла, — ее душило.

Из последних сил знаками Зина попросила Соню дать ей бумагу и карандаш и слабою рукой написала одно слово:

п о п у г а й. —

Карандаш выпал из рук.

И она умерла.

Вот было горе!

3

Третий бородинский гроб унесли из дому.

В церкви на отпевании, прощаясь с дочерью и в последний раз глянув на это покорное, обреченное лицо с плотно сжатыми, как сталь, синими веками, и запекшимися измученными губами, Александра Павловна вдруг все вспомнила, и не то недавнее счастливое, а то прошлое, тайное, что никогда не вспоминалось ей столько лет.

И заплакала она крепко.

И уж старою старухой, сгорбившись, пошла прочь от гроба.

«Разве я думала, что придется таких хоронить?»

Плакала она, тряся головой.

А вместо утешения, совесть, еще больше горбя и бороздя ей морщинами лицо, говорила ей, что некого винить, нет другого виновного, кроме нее, все сама, и одна, — она одна виновата кругом.

Соня весь день не отходила от матери, жалась к ней.

И пробовала утешать, и плакала, и большими глазами смотрела — страшно становилось за перепуганную девочку.

— Мама, что ты говоришь?! — спрашивала она, пугаясь своего голоса.

И мать рассказала ей о том прошлом и тайном, что никогда не вспоминалось ей столько лет.

*

Пятнадцать лет назад, когда Соне был год, Александра Павловна взяла детей и поехала к своей матери — первый раз выехала она из Благодатного, оставив дом и мужа.

И вот приснился ей сон, будто муж ее в алтарь входит.

Страшно ей стало: не заболел ли он, не умер ли?

На другую ночь опять сон снится: сломалось обручальное кольцо.

И опять стало страшно: муж умрет!

И стала она домой собираться.

— Собралась, еду, — рассказывала Александра Павловна, — а сама, не переставая, Богу молюсь.

Все молюсь Богу: если, говорю, уж суждено горю, так сделай так, пускай Миша умрет, Лиза умрет, Зина умрет, только бы он жив остался! Что-ж, думала тогда, маленькие еще ничего, только бы он жив остался. Про тебя я молчала, не могла. Приезжаю домой. Оказывается, в доме пожар был, а Петр Николаевич при смерти лежит. Бог услышал молитву: спас и дом и отца. А теперь... Миша умер, Лиза умерла, Зина умерла. Разве я думала, что придется таких хоронить?

Александра Павловна мучилась, не отпускала от себя Соню.

*

Петр Николаевич казался озабоченным и растерянным. Какая-то мысль точила его и беспокоила. Делать то, что он делал изо дня в день, он уже не мог.

Вечером он пробовал было передвинуть для порядка шкап в столовой, — отодвинуть-то отодвинул, но так и бросил его стоять на тычке.

Схватился за кочергу, но и с печами дело не пошло.

Несколько раз заходил Петр Николаевич в спальню к Александре Павловне и Соне, присаживался на кончик кровати и вдруг подымался, оставляя убитых горем жену и дочь.

— Все потерялись, Миша, Лиза, Зина и Соня,

и все нашлись, одной Сони нет! — бессмысленно и жутко бормотал он, неизвестно к кому обращаясь, не то к Михею, не то к печнику Кузьме, не то к экономке Дарье Ивановне, заменившей по хозяйству Александру Павловну.

Только поздно ночью Петр Николаевич угомонился и ушел к себе в кабинет.

Камердинер Михей, как старый дядька, не оставлял его ни на минуту.

Тревожно и жутко было в доме, все углы стали холодными. Куда все девалось? Где мир, смех и счастье?

Три гроба — три смерти морозом заледенили теплый огонек Бородинского очага.

4

Совершившиеся за какой-нибудь месяц события — эта Бородинская история со смертями тотчас была поднята на язык.

— Тут положительно дело нечисто!

Так заговорили не только в соседней Чернянке и не в соседней Костомаровке, но и в Британах и даже в Мотовиловке и, конечно, повсюду в городе.

Как, что, почему? — И давай — и пошло.

Всю жизнь Благодатненскую вверх дном перевернули, по косточкам перебрали и бабушек и тетушек Бородинских и то, чего никогда не было, и то,

что было, но совсем не с Бородиными, а, скажем, ну с Муромцевыми. Все на свет Божий вывели — глядите, господа, и судите, нам-то все уж давно известно!

Ухватились почему-то за того таинственного гостя — генерала, друга Петра Николаевича, который, Бог знает отчего, сбежал тогда из Благодатного.

И сразу же все решили, что этот самый генерал все знает, и стоит только допросить его — и станет все ясно, как на ладони. Но где его достанешь? Туда—сюда. Руки опускаются.

Кто-то сказал:

— Перевердеева весь Петербург знает.

— Стало быть, он в Петербурге?

— Конечно!

Срочно был послан от губернатора запрос в Петербург. Чуть ли не в тот же самый день получилась справка. Доносилось, что генералов в Петербурге сколько угодно, и есть с такими фамилиями, что даже не совсем ловко в дамском обществе представляться, но Перевердеева никакого нет. Может быть, Переверзев?

И пока снова наводили справки о Переверзеве, судили и рядили вкривь и вкось, кто-то железный, не спрашиваясь, никому не отдавая отчета, уверенно совершал свое верное дело, кто-то беспощадный семимильными шагами из дальне-далека шел творить суд и расправу по-своему.

Без Александры Павловны ничего не клеилось, и она через силу, отрываясь от своих тяжелых дум, входила в мелочи жизни.

Она считала себя не в праве бросить на произвол судьбы дом, мужа и дочь, — мужа, из любви к которому она принесла такую огромную жертву, дочь, из любви к которой она пожертвовала бы сейчас всем своим покоем.

И не ошиблась ли она, когда, молясь, отдавала в жертву троих старших, а Соню забыла?

И не забыла Соню, а нарочно не помянула!

Зачем она тогда не помянула Соню? — Все бы уцелели.

А что, если бы все четверо умерли? Но этого не могло быть: ведь если бы она все отдала, а кто отдаст все...

Зачем она тогда не отдала всех?

Вот вопрос, который сверлил ее и не отпускал.

А ну, как и Соня умрет?

Она же вот сказала сейчас, что отдает все, а стало быть, и Соню?

Вот вопрос, от которого, как помешанная, металась она, боясь думать.

— Соня, Соня, где ты? — спохватывалась Александра Павловна, ища дочь, которая не отходила от матери.

К мукам за себя, за свой поступок, к мукам за единственную дочь присоединилось беспокойство о

любимом муже, жизнь которого держалась на трех дорогих смертях.

Петр Николаевич еле двигался, он уж не выходил из кабинета, он посинел весь, волосы примазались, и блеклая мертвая кожа, точно отделившаяся от тела, висела на нем мешком.

По дому, по всем комнатам пошел тяжелый дух.

Дом был старый, под полом водилось множество крыс — их было целое поколение, и нередко случалось, что какая-нибудь древняя крыса дохла. Вот, должно быть, почему шел невыносимый запах.

В другое время Петр Николаевич непременно бы нашел то место, где валялась падаль, пол подняли бы и падаль убрали бы, но теперь не до того было.

Все, кому случилось в это время быть в Благодатном, чувствовали, что так жизнь продолжаться не может, что рано или поздно — какой, все равно — а должен отыскаться выход.

И ждали.

А ждать еще положено было три дня и три ночи.

И два дня и две ночи уже прошли.

*

В субботу вечером батюшка о. Иван служил в доме всенощную и накадил изрядно — ладана не пожалел.

После закуски уехал, и все не без угара разошлись спать.

— Ночью, — так после рассказывал Михей, — слышу я, барин меня кличет. «Михей, говорит, голубчик, принеси мне петушка, Христа ради, я тебя никогда не забуду». «А зачем, говорю, вам, барин, петух в такую пору? Ночь на дворе». А он только глазом подмигнул: понимай, значит, зачем. Пошел я в курятник, поймал петуха пожирнее, принес петуха и нож подаю. Взял барин петуха, резать стал, а сил-то уж нет— петух все трепыхается. Ну, кое-как с петухом покончил. Крови целая лужа и на полу и на себе. Будто и лучше барину стало. «Хорошо бы, говорит, Михей, покойничка посмотреть!» «Господь с вами, говорю, какой теперь покойник, эка невидаль!». А у самого по спине мороз подирает — вижу, с барином что-то неладно, ровно что его душит, так зуб о-зуб и колотит. «А где, говорит, Соня?». Да на меня как посмотрит — умирать придет час, не забуду, так посмотрел. «В барыниной спальне, говорю, с барыней». Тут барин, видно, успокоился, а я отошел да и прилег.

— Проснулась я ночью, — рассказывала после экономка Дарья Ивановна, — слышу, будто кот мяучит. А откуда, думаю, коту взяться? Помяукала — не отзывается, шипит.

— Петух, действительно, пел, — показывали другие.

*

Но видно, и петух не помог.

А какой петушок был славный!

Сил у старика больше не было, сейчас задохнется.

Петр Николаевич вдруг привстал на кровати:

— Все потерялись, — Миша, Лиза, Зина и Соня, и все нашлись, одной Сони нет!

И одна заволакивающая мысль: найти Соню сейчас же, сию секунду, подняла его на ноги и повела.

Не выпуская ножа из рук, он пополз из кабинета в спальню.

Дверь в спальню была полуоткрыта.

В спальне было светло от лампадки.

Соня лежала с матерью на кровати лицом к двери.

— Курочка, куронька моя! — шептал старик, подползая к кровати.

Соня открыла глаза. Села на кровать.

И, глядя на отца, скрюченного, измазанного кровью, в ужасе вытянула свою лебяжью шейку.

— Куронька, куряточка! — шептал старик, силясь подняться на ноги.

И — поднялся.

Лебяжья шейка дочери в луче лампадки еще больше вытянулась под сверкнувшим ножом — один миг, и вишневым ожерельем сдавило бы лебедь!

Но старик уж не мог, силы его оставили, ему нет спасения!

Нож выскользнул из рук и вместе с склизлою кожей, отделившейся от его пальцев, упал на ковер.

Старик, дрогнув, присел на корточки, весь осунулся.

Все в нем — нос, рот, уши — все собралось в жирные складки и, пуфнув, поплыло.

И плыла липкая кашица, чисто очищая от дряни белые кости.

Голый, безглазый череп, такой смешливый, ощериваясь, белый, как сахар, череп стал в луче лампадки.

И в ту же минуту огонь, распахнув пламенем дверь спальни, красным глазом кольнул мать и обомлевшую дочь, и мертвую голову мертвого отца и, бросившись языками под потолок, развеялся красным петухом.

Дом Бородиных горел.

ЧОРТИК

1

Дом Дивилиных у реки. Старый, серый, лупленный. Всякая собака знает.

Дверь в дому с приступками, узкая, серая, глухая — ни скважинки, ни щелинки — и для ключа никакой дырки не видно. В ночную пору не достучаться. Да и кому в ночную пору стучаться? — Разве бы вору? — Вору-то, положим, и не к чему, вор и без дверей залезет, на то он и вор. А если вот случай какой, надобность важная... Ну, уж не обезсудь — звонка не водится.

Одно время на двери висела записочка:

х о д в о к о ш к о —

Плутня ли тут чья, или так уж надо было по случаю какой переделки, — действительно, о ту пору поблизости околачивались маляры. Но от этого не легче.

Ты сунься-ка, попробуй! — окно-то вон где: сколько ни скачи, не доскачешь, только жилу себе вытянешь. Оно если бы с тумбы или с фонаря... Да тумба-то на грех кривая: ехал как-то ломовик, зазевался, зацепил за тумбу, тумбу и своротило, так с тех пор кривою и осталась. А с фонарем тоже ра-

дость не ахти какая. Если бы хоть чуточку поближе, а то вишь угодил куда — совсем наискосок к Москва-реке. Это пока-то полезешь да приноровишься — да и лазить не стоит: пустое! Ну, да что, с улицы не подступиться.

Вот через забор разве с набережной махнуть? — Через забор — костыли помеха: другой попадет тебе толще пальца, вот этакий, а востроты — игла тупее. Его, брат, не перещеголяешь!

Если ткнуться в ворота... если ткнешься в ворота, прямо перед тобою будет на дворе огромный сарай; когда-то ходил сарай под извозчика, а теперь только конский дух остался, навозцем, да и тот продыхается.

Доберешься благополучно до сарая, поверни на левую руку и иди напрямик до собачьей конурки — собаки в конурке никакой нет, была одна, Белкой звали, да подохла, так что и побрехать некому.

А от конурки опять поверни на левую руку и упрешься прямо в дверь.

Дверь обита замуслеванной клеенкой и на блоке. Отворить ты ее, конечно, без труда отворишь, хитрости тут никакой нет, и пойдешь по коридору, и, наспотыкавшись вдоволь, уткнешься, наконец, в другую дверь. Тут-то тебе и ожидай! Пока не лопнет терпение — все равно без толку — плюнешь и пойдешь.

Вот как законопачивались люди!

Улица узкая, пустынная: по утрам водовоз, вечерами отходники — вот и все движение.

А в дому живут.

Но что в доме делается, ни одной душе не открыто.

2

Старик Дивилин в большой чести был, представлялся за юрода, за блаженного. Хоть и жил затворником, а нет-нет, да и показывался. Ходил старик под кличкой у т о п л е н н и к а. Как-то, еще вскоре после женитьбы, попал он на Крещенье в прорубь и утонул. Стали искать, зацепили багром, на багре его и вытащили, подняли потом на руки и откачали.

С тех пор и пошло: утопленник да утопленник, и вся тут.

С тех пор и пошло: пить очень стал.

Стукнет эта нелегкая минута, — сейчас же всю одежду с себя на пол, да как есть, в чем мать родила, прямо на улицу. Дождь ли, слякоть ли, мороз ли трескучий или вьюга, — проходи мимо: никакого внимания.

И все ему в ту пору р а к а м и представлялись, а сам он будто рак наиглавнейший, в роде как бы ихняя матка рачья. Вытянет старик руки, растопы-

рит пальцы клешней и ловит. Кто-б ему ни попался, всякого словит. Идет он прямо на рынок и там первым делом за лошадей берется. Бьет во все кулаки скотину, лупит ее по морде, пока из сил не выбьется, да где-нибудь у стойла тут же и притихнет. И лежит под рогожей неподвижно, как мертвец, глаза открыты, огромные без белков, и выпучены — рачьи, и сам весь красный, как вареный рак.

А придет время, очухается, встанет и начнет бормотать да распинаться. Только слушай! Тут от баб ему прохода нет. Все, что, бывало, ни скажет утопленник, все так и сбудется. Никогда не обманывал. Такой уж, знать, дар был.

Большим уважением пользовался человек, редко кому выпадает от человека такое большое уважение. Да пренебрегал, не нуждался. Другого старик хотел.

Старуха Аграфена, как в монастыре, и носу никуда не покажет, так и сидит сиднем. А кто ее видел, не скажет, что она старуха: так лет сорок, не больше, да и то перехватишь, а эти годы не старые, в эти годы и как еще пошевелиться можно, другая-то на ее месте такие выверты вывертывает, молодая позавидует.

В беленьком платочке, вся прозрачная и неподвижная, не то без кости она, не то бессемянка. Тихая, не улыбнется. И все в одном виде: и не стареет и моложе не становится.

А бывало-то, до замужества, какие только, бывало, чудеса ни творила, какие только чуды ни чудила. Такая любовная: всякого приголубит и пригреет, и откуда-то слова такие появятся, прямо за душу хватит, и войдут слова в душу и угасят всякое пекло. Любому старику такие знания, что она знала. Бывало, расспрашивать кого начнет или в трудную минуту сама что посоветует, заслушаешься. Глаза голубые, волосы — лен. Монаху не устоять, не токмо что простому человеку.

И случись же тому — влюбилась она по уши в Ивана-утопленника, а Иван и в ус не дует, хуже, просто сам не знает, почему противна она ему да и только. Тут вот оно и произошло. Взяла она Ивана, добилась своего, да не своими руками.

Дело вот как было. Давно уж замышляла Аграфена недоброе — п р и в о р о т сделать. Ждала только Пасхи.

На первый день Пасхи после обедни, когда вышел батюшка со святою водой, заметила она паску, на которую святая вода первее всех крапнула, отщипнула от паски кусочек и затаила у себя. То же проделала и с артосом, на который первее всего святая вода попала.

Завязала артос и паску в тряпочку, повесила на грудь, и так носила на груди до новолуния.

Когда же показался на небе молодой месяц, вышла она в глухое место, стала против месяца,

сняла месяцу с груди свой золотой крест и стала наговор сказывать — приворот делать:

Месяц молодой все видит,
месяц молодой все знает,
и видит и знает,
кто с кем целуется.
И она, Аграфена,
целуется с Иваном
Так и навеки,
чтоб целовались и миловались,
как голубь с голубкой!
Едет она на осляти,
гадюкой погоняет,
приступает к месяцу
с артосом и паской.
И Иван не отвертывается,
не говорит ей худого слова.
Так и навеки,
чтоб не сказал худого слова,
а все ласково.

Аграфена сняла с груди тряпочку, вынула артос и паску, съела, а немножечко крошек оставила.

Побежала под каким-то предлогом в дом к Ивану, да незаметно и всыпала ему в чай крошки.

Дождалась, пока Иван выпил чай, и тогда ушла домой.

Иван рехнулся: жить уж без нее не может!

А она испугалась. Видит, дело не ладно, жить так, как раньше, она уже не может: тянет ее куда-то, наводит на такие мысли — кровь холодеет в жилах.

Все это так незаметно, как-то само собою, все будто в шутку.

И чувствует она в себе необыкновенную силу, и захоти она самого невероятного, и оно тотчас исполнится.

И она уже боится хотеть чего-нибудь, боится думать...

Опять достала крест, повесила себе на шею, стала поститься, все, все, все проделала, как написано.

И затихла.

Словно прихлопнуло ее. Словно чорт задавил ее. Плюнул на нее чорт и навсегда ушел, бросил в этом мире жить в покое, в молчании, без веселья, без радости, без единой улыбки, хоть на один миг.

И она жила безмятежно, безропотно.

Куда все подевалось? — Сама не поймет.

Да и было ли что? — Ничего не помнит.

Будто родилась такой, будто отродясь не веселилась, не радовалась, не улыбалась ни разу. Молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

3

Дети у Дивилиных рождались часто. И помирали. Родится крепыш, поживет с год, уж и ходить начнет и разговаривать, да вдруг ни с того, ни с сего и протянет ножки, — Богу душу отдаст.

Осталось в живых всего на всего двое — два мальчика.

Старший, Борис, большую охоту к ученью имел. Всю свою половину в доме книжками уставил. Неразговорчивый, сидит, бывало, все читает, и не оторвешь его ничем: ни сластями, ни играми. Кончил он гимназию, поступил в университет студентом.

Сам старик Бориса до страсти любил. Ни в чем ему не отказывал. Все хотел, чтобы из него доктор вышел.

Бывало, в тихий час, когда не случалось запоя, подсядет старик тихонько к сыну и все расспрашивает:

откуда мир пошел, да откуда земля, да откуда человек и всякий зверь?

и зачем все так приключилось, как оно есть, и будет ли конец этому, и наступит ли другое?

и какое такое это другое будет?

и почему на земле все причины и боль и страсти?

и зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет?..

Понимал ли старик, что ему сын из книжек рассказывал, понимал ли сын, о чем его старик спрашивал?

Старик все тянул свою черную редкую бороду, впивался в нее пальцами, будто клешнями, качал головою.

И так же тихонько, как входил, опять отправлялся к себе на свою половину и там нередко в потемках,

при крошечном свете лампадки, целыми ночами ходил взад и вперед и бормотал сам с собою, и, впиваясь пальцами в черную редкую бороду, кивал головой, и, выпучив черные без белков рачьи глаза, стоял столпом. Стоял долго, весь — камень.

И опять тихонько пробирался к сыну и, если заставал его за книжками, садился молча, глядел на него, а впадина меж бровями чернела чернее глубокого колодца.

— Зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет?

Борис рано женился. Ходила к Дивилиным в дом к матери Аграфене молоденькая монашка Глафира. Вот на Глафире он и женился.

Родилась у них девочка.

А вскоре случилась в доме такая темная из темных история. Однажды ночью к дому подъехала «черная карета». Вышли из кареты люди. Вошли в дом. Взяли Бориса. Посадили с собою в карету. Карета укатила. Уехал Борис. И больше не вернулся.

Больше Борис в дом не вернулся.

Так и сгинул, — ни слуху, ни духу.

Двенадцать лет прошло с тех пор, а все ничего не известно, и сколько ни ломали голову, ни до чего не дошли, и сказать ничего нельзя: как, что и почему?

Двенадцать лет, как умер старик, не возвращается Борис, и вернется ли, — одному Богу известно.

Старик умер с горя.

С того дня, как увезли Бориса, он больше не ложился спать, больше он не мог спать.

Все ночи проводил старик в комнате Бориса на своем обычном месте у стола и, облокотясь, смотрел туда, где прежде сидел Борис над книгами.

— Зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет? — бормотал старик.

Да так и помер.

Уже после смерти его через несколько месяцев Аграфена родила последнего. Окрестили мальчика Денисом в честь дедушки.

Ни смерть старика, ни случай с сыном не смутили ее ровного изо дня в день равного века.

Только один раз голубые ее глаза вспыхнули голубым огоньком. Только один раз — и погасли.

Безмятежность, безропотность. Молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

4

Весь дом и все дивилинское хозяйство лежали на руках невестки Глафиры. И Глафира заправляла всем по-свойски.

Сохлая, как щепка, тощая, как спичка, без кровинки, хищная и злая, что Яга на суковатом помеле, — сущая Яга.

Там, в монастыре, тихая по нужде, смиренная по

послушанию, развернулась она тут во всю в пустом доме с его половинками, коридорчиками, переходами, закоулками, лестницами без конца и всякими без числа комнатами.

Вышла Глафира замуж за Бориса... шут ее знает, почему она вышла замуж. По любви, или расчет у ней какой был, или просто так пора пришла... Теперь свободная, она свободно могла делать все, что хотела.

Но что ей делать, кроме как по хозяйству, в этом пустом доме? — Да ничего.

Как ничего?

И попадало-ж от нее Антонине и Дениске.

По двору побегать, либо со двора куда: покататься там на лодке, поудить рыбу, — ни-ни!

Только по большим праздникам Яга забирала детей и отправлялась с ними пешком на другой конец города, в монастырь за заставу. И всю-то дорогу муштровала и за службою пьявила, — какое уж там развлечение, хуже карцера, куда Дениска частенько попадал и за лень и за шалости.

Дениска — мальчишка рослый и грудь у него железная.

На перемене и часто во время урока, расстегивая курточку, показывает он мальчишкам свою грудь. И все соглашаются, да и не могут не согласиться, что грудь у него, действительно, железная, и если постукать, отдает здорово.

Когда Дениска только-что поступил в гимназию, его встретили кличкою — так, по отцу — у т о п л е н н и к о м. Но в первый же день он избил одного из самых отчаянных и задирчивых во всей гимназии, и с тех пор его побаиваются.

Лентяй страшный, за книжку не усадишь. Одно пристрастие: очень рисовать любил. Только и дело, что выводит рожицы, учителей да разные разности. Полны карманы карандашей, гумиластиков и с н и м к и.

«Снимка» ходила не только для снимания точек при оттушевке, но и для озорства. Снимка такой предмет, что сам в рот просится. И пахнет от снимки чем-то таким приятным, особенно когда она свежая и с бумажки так на желтой своей перепонке отлипается.

Дениска любил жевать снимку, пожует-пожует, а потом какую-нибудь фигурку из нее и состроит: либо лягушку, либо несуразность и еще там что, отчего весь класс, как один, завизжит, и унять уж невозможно станет. Потом надует пузырек и, когда притихнут, возьмет да и сдавит снимку, чтобы лопнуло. И лопается, трещит пузырек по всему классу, а причины не видно.

Из-за этой снимки сколько раз в карцере Дениска сидел, да по воскресеньям ходил в гимназию, если считать, так всякий счет потеряешь.

Книжки читать для Дениски все равно, что поклоны класть. И те книжки, которые выдавались

ученикам на дом, с первых же строк нагоняли на него такую зевоту, и так его всего корчило, что, вот того и гляди, возьмет он эти самые книжки да в клочки.

А знал Дениска много разных историй, разными путями они попадали к нему: и наслушался вдоволь и так из головы выдумывал.

В гимназии за карцером присматривал старичок швейцар Герасим. Сидит, бывало, Дениска, и старичок Герасим сидит, смотрит к Дениске в окошечко: тоже никуда уйти нельзя, отвечать за все будешь. Вот старичок скуки ради и рассказывал. И про что только ни калякал старик: и про сражения, и про деревню, и про колдунов, и про покойников. А сказки начнет — хоть бы и век сидеть в карцере! — вот как рассказывал.

Антонина тоже училась в гимназии. Но прошлой зимою с ней беда приключилась, и из гимназии ее взяли.

Как-то на первый снег поела Антонина с Дениской снежку. С Дениски, как с гуся вода, поперхшил, тем и отделался, а Антонина слегла. Да так тяжело, всякая надежда пропала, что встанет. И все же выходилась, только с ногами стало неладное: ступить она могла лишь на одну, левую, и то носком, а правая нога так болталась, как хвост. Пришлось девочке костыли носить.

И куда девалась ее светлая коса, — так какие-то одни волосики торчат, а от косы и помину нет.

Первое время после болезни Антонина все еще продолжала ходить в гимназию. Самая озорная — Дениске в озорстве не уступит, — самая неугомонная во всем классе, сидела она теперь, запрокинув голову, как горбатая, и костыли торчали за ее спиной, как два чортова кукиша.

На бледном ее личике порывалась скорчиться р о ж и ц а, и губы коверкались, готовые уж задать такой смех, от которого и учитель и доска покатятся по классу, но ничего не выходило, — выходило что-то жалкое, жуткое и мучительное, отвернуться хочется.

Учителя избегали вызывать ее, а когда спрашивали, то разрешалось отвечать сидя... Да она, бывало, и минуты на месте не усидит! Извелась девочка. Вот и взяли ее из гимназии.

И теперь Антонина с утра до вечера в комнатах под призором свой матери — Я г и.

Ягу дети не любили, как не любила Антонина своих классных дам, как не любил Дениска нюнь, пихтерь, тихонь, фискал, директора и надзирателей.

Старуху же Аграфену, напротив. И часто дети заходили к ней на ее половину. Величали Аграфену б а б и н ь к о й. Так уж повелось: бабинька и бабинька.

Тепло у старой, уютно.

Стены в картинках; картинки шелками да бисером шиты: тут и цветочки, и лютые звери, и мона-

стырь, и китайцы, амазоны на конях и так амазоны, лебеди, замки, и опять китайцы.

В углу иконы, по бокам святыня: шапочки, туфельки, рукавички, ленты, пояски, крестики, гашники, нагузники — все с мощей от угодников.

На столиках шкатулки — бисерные, и кожей обделанные, и разрисованные, и хрустальные.

Бабинька в беленьком платочке, словно воды в рот набравши, ни слова не скажет, только молится да вздыхает.

А какая у бабиньки лестовка: белая лестовка, скатным жемчугом осыпана, на лапостках по золотистому бархату жемчужные веточки, и краешки и ободки жемчужные, и каждый бабочек — ступенька из целой жемчужной дорожки.

Лазали себе дети по шкатулкам, отворяли сундучки, вынимали диковинки и все пересматривали и все перетрогивали. И чего-чего там не было...

Старуха между тем, не оставляя молитвы, отпирала один из шкапчиков, брала из шкапчика полную тарелку сушеных яблоков, и груш, и слив, и винограду и ставила на стол перед детьми.

— Ягодку, ягодку! — шептали ее поблекшие губы.

Бросали дети шкатулки и коробочки, принимались за тарелку уписывать.

— Ягодку, ягодку! — шептала бескровно старуха.

И тарелка пустела.

— Прощай, бабинька, благодарим! — целовали дети старуху и шли к себе в детскую.

5

Детская — на половине Бориса.

После смерти старика все книги пошли на подтопку, и в доме не осталось ни одной завалящей книжки.

Исчезновение Бориса приписывалось книгам.

— Все от книжки, — говорила Яга, — книжки от Дьявола, и водить в доме погань — только его тешить, да и пыль заводится.

И там, где раньше не было ни уголка, не заставленного, в пустой комнате проводила Антонина все свои дни.

Только и ждала что Дениску.

Дениска возвращался из гимназии с опозданием: то оставят, то так прошляется с мальчишками.

Рассказывал Дениска Антонине страшные и чудные истории, и Антонина любила их слушать.

Сама просила, чтобы рассказывал.

Всякую историю, всякое ухарство принимала она с какою-то страдною болью.

Она хорошо знала: удел ее сидеть вот тут, вот так, и большего нет для нее и не может быть ничего до гробовой доски. Она бередила себя, поддразнива-

ла, слушая рассказы и представляя себе те ухарства, на которые и она когда-то была готова.

Глядя куда-то под потолок, как горбатая, хохотала она, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать. И глаза ее горели со смехом и слезами, и вся она подпрыгивала и костыли за спиною прыгали.

— Денька, миленький, Денька, еще что-нибудь!

А Дениска взялся было за карандаш — замахнулся какого-то чудищу изображать...

— Денька, про дятла! — стучит кулаком Антонина, и бровки у нее сходятся: не то заплачет, не то ударит костылем.

И начинается сказка про д я т л а, начинает сказку Дениска.

Сказка всем известная, как кормила и поила собака мужика и бабу, и как выгнали собаку за старостью лет со двора, и как очутилась собака в таком скверном положении, что хоть ложись да помирай.

— И придумала собака итти в чистое поле и кормиться полевыми мышами, — Дениска вытягивает губы и так скашивает лукаво глаза, будто сам мышку ловит, — пошла собака в поле, увидел ее дятел и взял к себе в товарищи...

Тут начинаются собачьи похождения.

Долгая сказка и жестокая.

Рассказывает ее Дениска с азартом, словно бы собачья и дятлова участь были его участью.

Накормил дятел собаку по горло и напоил до сыта.

— «Я теперь и сыта и пьяна, хочу вдоволь насмеяться!» «Ладно», отвечает дятел. Вот увидели они, что работники хлеб молотят. Дятел сел к одному работнику на плечо и ну клевать его в затылок, а другой парень схватил палку, хотел ударить дятла, да и свалил с ног работника. А собака от смеха так и катается по земле, так и катается...

И чем жестче куралесы собаки, тем глаза у Дениски игривее.

Достукалась собака — ехал мужик в город горшки продавать — завязла собака в спицах колеса, тут из нее и дух вон.

— Озлился дятел на мужика, сел на голову его лошади и стал ей выклевывать глаза. Мужик бежит с поленом, хочет убить дятла; прибежал, да как хватит — лошадь тут же и повалилась мертвая. А дятел вывернулся, перелетел на воз и пошел бегать по горшкам, а сам так и бьет крыльями. Мужик за дятлом и ну поленом по возу-то, по возу-то. Перебил все горшки и пошел домой ни с чем. А дятел полетел к мужиковой избе, прилетел, и прямо в окошко. Баба печь топила, а малый ребенок сидел на лавке; дятел сел ему на голову и ну долбить. Схватилась баба, прогоняла-прогоняла, не может прогнать: дятел все клюет. Вот она схватила палку, да как ударит: в дятла-то не попала, а ребенка до смерти

ушибла. Воротился мужик, видит: все окна перебиты, вся посуда перебита, и дитё мертвое. Пустился гоняться за дятлом, исцарапался весь, избился, и поймал-таки. «Убить его»! — кричит баба.

Дениска вывел на бумаге какой-то трехаршинный нос, подставил ему ножки, причмокнул:

— «Нет, говорит мужик, мало ему, я его живьем проглочу». И проглотил.

Бледное лицо Антонины покрывается красными пятнами, бегает под глазом беспокойный живчик, и начинает она хохотать.

И в детской, пустой с пустыми полками для книг и с двумя кроватями по углам, с длинными стенами, сплошь изрисованными рожицами, носами, хвостиками, горит огонек далеко за полночь.

Только Яга, шлепая туфлями, разгоняет детей по кроватям.

Но и в кроватях они долго еще переговариваются и прыскают от хохота и пищат мышами.

Мерный свет лампадки, мерный ход часов подговаривают, подшептывают им в этой ночи и доме пустом.

6

Единственный гость у Дивилиных — т а р а к а н о м о р Павел Фёдоров.

Дети хоронились от тараканщика, и тараканщик не любил детей.

— Поганое, — говорил тараканщик, — дьявольское семя. Зачаты во грехе, грехом насыщены, грех плодят. Поганое.

На дворе росло репею видимо-невидимо, и Дениска урывками, когда удавалось незаметно проскользнуть от Яги, собирал колючих с о б а к и незаметно сажал этих с о б а к тараконому на самые непоказанные места.

Если было когда-либо такое поразительное сходство человечьего лица с собачьей мордой, так именно у Павла Федорова.

Да большего сходства, наверно, и никогда не было. Ну прямо собака и собака. Заросший весь, поджарый, зубастый, и не голос, а глухой лай. Пес сапатый.

Павел Федоров ходил по известным купеческим домам и там морил тараканов.

Через плечо висела у него черная кожаная сумка с белым ядом, а в руках — палка с кожаным наконечником.

Наконечник он обмазывал свиным салом, вынимал из сумки баночку с белым порошком, осторожно открывал крышку и макал туда палку. Потом шептал какое-то тараканье слово и приступал.

Он ходил по стене, где водились тараканы, и медленно прикладывал свой наконечник, так что вся стена покрывалась беленькими кружочками в роде о г н е н н ы х б е л ы х я з ы к о в.

Медленно прикладывал тараканщик наконечником, да с расстановкою и со вкусом.

И тараканы, уж не боясь света, ползли на приманку и ели белые кружочки, ползли из всех потайных гнезд, из всех щелей и подщелей, с малыми детьми, с яйцами и ели белые кружочки. Наевшись, сонно уползали они назад в гнезда, щели и подщели, чтобы уж никогда не выйти не только при свете, но и в самый разгар усатой тараканьей жизни — в ночную пору.

Таракономор считал свое дело большим и важным. Словно бы в тараканьем шуршаньи мерещился ему сам Дьявол, а побороть Дьявола, стереть Дьявола с лица земли было главным и первым заветом тараканомора.

И, отрываясь от работы, он только и говорил о главном.

— Вся земля в плену у нечистого, все проникнуто его сетями, всюду его сатанинские лапы. Дети родятся не для славословия — поганое семя! — они родятся, чтобы творить козни Дьявола. И конец уж идет, прогнивает земля от нечистот и пакости. И время уже близится... Дьявол и все сети его станут явными, ибо скрываться ему уже не к чему. Обречена земля, умирают последние праведники, расплождаются, как песок морской, сыны бесовские. Скрываться уж не к чему. Сядет он на престол, как царь и судия, начнет повелевать и судить от моря до моря

своих рабов и обратит царство свое в ад кромешный с огнем неугасимым и червем неусыпающим.

Тараканщик так лицом к лицу никогда не видал Дьявола. А стань Дьявол перед ним, тараканщик не устрашился бы вступить в борьбу.

Поморив тараканов, Павел Федоров закрывал свою баночку, убирал ее в сумку, вешал сумку через плечо и принимался за палку, в трех кипятках обмывал наконечник, вытирал сухою тряпкой, ставил палку в сенях, потом, плескаясь и фыркая, мыл себе руки, и бороду, и под бородою, шептал опять тараканье отпускное слово и, помолившись, садился за стол пить чай со сливным вареньем.

Не дай Бог, чтобы варенье не так было сварено, как любил тараканщик.

За стол не сядет и выговорит.

— Ты сливу разрежь сперва пополам, посыпь ее сахаром, да ставь сковородку на ночь в печь, да на утро вынь из печи и начинай варить. Тогда слива к сливе, что таракан к таракану, будет отдельно.

Возьмет тараканщик свою палку, нахлобучит шапку и уйдет.

И ты его проси не проси, ни за что, в сердцах, не вернется.

А если все оказывалось в исправности, тут за чаем начинался разговор о главном.

И изливают хозяева душу, перебирая все горести и беды своей семейной жизни.

— Поганое, — лает тараканщик, — все поганое.

И когда бы он ни пришел, что бы он ни услышал, кого бы ни увидал, ему от всего отзывало поганью, скверным духом, — мерещился Дьявол.

Но самого Дьявола так лицом к лицу он никогда не видел. И если бы Дьявол явился к нему, тараканщик не устрашился бы и — верил, он верил, одолел бы его.

Если бы Дьявол явился к нему!

*

Жизнь Павла Федорова проходила в мореньи тараканов. Так не по делу он никуда не заходил, исключая Дивилиных.

И только иногда, а случалось это не больше пяти-шести раз в году, он сдергивал с себя черную сумку с белым ядом и куда ни попало швырял свою палку с кожаным наконечником.

Это приходило совсем неожиданно. Суровость и мрачность вдруг достигали какой-то своей последней точки. Он начинал весь дрожать, глаза застилало, зубы скалились. Собачий вой подымался в груди, и если-б тогда привязать его на цепь, он завыл бы собакой.

Он запирал все двери, завешивал занавески, шарил по углам, засматривал под кровать — его тянуло.

Он трогал полые предметы, вынимал стаканы, чашки, снимал ламповые стекла — его тянуло.

Душа его горела, сердце стукало, нутро выворачивалось.

Стуча зубами, как в лихорадке, наконец вырывался он из комнаты и шел, окутанный мутью, с тяжелою тупою головой, а мозг его придавливало, будто лежал на нем плотный слой коры.

Слепо добирался тараканщик до Зверинца.

Там, в Зверинце молча бродил он от клетки до клетки, от кролика к морской корове, от обезьяны к слону. Потом так же молча и слепо, когда темнело, покидал он Зверинец, выходил на главную улицу.

А на улице уж пробуждалась ночная открытая жизнь.

Шел он все напряженнее и беспокойнее, глядя перед собой, не давая дороги, не сторонясь, не уступая, напролом.

И если бы нелегкая подтолкнула остановить его, трудно ручаться, чтобы тут же не задушил онъ, а будь при нем нож, не зарезал бы негодяя.

И так он шел по улице медленнее и медленнее, пока вдруг не застывал на месте: тогда первая попавшаяся женщина была обречена.

Он не вел, а волок ее, тащил в какой-нибудь номер или комнату.

Там набрасывался — брось голодной собаке кость, как она набросится! или рыбу... с костями, с кожей, с внутренностями, и урча и сопя, все схряпает,

загрызет с костями, с кожей, с внутренностями п о г а н о е лакомое мясо.

И было в этом что-то головокружительное, и продолжалось целые часы, целую ночь.

Молча, не глядя, покидал тараканщик не человека, не женщину, молча, не глядя, покидал тараканщик труп, и шел к себе домой, чтобы заснуть мертвым сном и, выспавшись, начать жизнь обычную и работу — морить тараканов.

7

Приключения тараканомора оставались глубокою тайной. Как загадочные истории, они нет-нет и выплывали на свет, но никто не поверил бы, что все это — его дело рук. Все считали тараканщика за необыкновенного, не простого, но чтобы такое делать... да никому и в голову не придет.

Тараканщик у всякого на языке.

За последнее время стали немало занимать его посещения Дивилиных: ни к кому без дела порога не переступит, а к Дивилиным — накось! — каждую субботу обязательно.

А дом глухой, не подступишься, и нет возможности узнать, чем он там занимается. А уж очень всем любопытно было знать, чем он там занимается.

Кто-то смеялся:

— В доме все уж давно перемерли, и ни одной ноздри не осталось, а на место людей тараканы за-

велись, с этими тараканами тараканщик и водит компанию; вот какой хлюст!

— А Дениска? — возражали смехачу, — ведь шляется же мальчишка всякий день в гимназию!

Нет, шутки в сторону, шутками тут не отделаешься. И начинались догадки.

Вспоминали самого старика—утопленника. Без утопленника не могло обойтись.

Говорили:

— Утопленник и не думал помирать, утопленник жив и находится в великом затворе, только с тараканщиком что и водится.

Говорили:

— Тараканщик с Дивилиными бабами новую веру хочет объявить.

А другие говорили:

— Никакой веры тараканщик сделать не может, все веры уж сделаны, а просто живет он с Дивилинскими бабами: с Глафирою полюбовно, а со старухой, как с малым дитём, обманом.

— Да он и не человек вовсе, — замечали хитрецы, — нешто человеку дана власть над тварью, а ему таракан повинуется.

— Таракан не корова, — встревался встревальщик, — корова ли, лошадь ли, овца ли, баран ли и прочий скот, все они Богом благословлены на служение человеку, таракан же не в воле человека, о таракане да о мышах нигде не сказано.

Находились бабы, уверяли бабы, будто они собственными глазами видели, как тараканщик превращался в таракана, и затем собственными ушами слышали, как хрюкал он по-свинячьи.

— Причем же тут свинья, — унимал догадливый догадливых баб, — дело не в свинье, и свинья не причем, а вот куда девался старшой утопленников сынишка Борис?

— С книг.

— Конечно, с книг. Да с каких книг? С простой не сгинешь: черную он читал книгу.

— А откуда она к нему попала?

— От утопленника.

— А утопленник откуда достал?

— Ну, утопленник на то и утопленник.

— Никакой черной книги нет.

— Как нет?!

— Да так, очень просто, нет и нет.

— Нет, говоришь, значит, по-твоему и Бога нет?!

И если бы не Федосей, отколошматили бы беднягу, до новых веников не забыть.

Федосей — мудрый, слова от него не добьешься, а уж если начнет, за словом в карман не полезет.

— Черная книга есть, — отчеканил Федосей, и все язык прикусили, — черную книгу написал Змий, от Змия перешла она Каину, от Каина Хаму. А когда пришел потоп, Хам скрыл книгу в камне.

А когда кончился потоп, вышел Хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему Ханаану. И пошла книга от сына к сыну в род Хамов. И задумали сыны Хама насмеяться над Богом, как отец Хам насмеялся над своим отцом Ноем. Задумали сыны Хама построить великую с е м и - л у ч е й башню, соединить разделенное Богом — небо и землю. Но разгневался Бог, смешал языки, рассеял людей по лицу земли, и попала книга в Содом. И не было преступления, которое не совершил бы проклятый город. Провалился проклятый город, канули грехи и злодеяния, но книгу не приняло озеро, и огонь не попалил ее. Досталась книга Новуходоносору царю. И творились всякие беззакония. И творились всякие беззакония сорок два века человеческих, пока не разрушены были царства, и не попала книга на дно морское. Там, под горючим Алатырем-камнем лежала книга нивесть сколько. И вот, один арап за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но Дьявол полюбил арапа, научил арапа, как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был праведный город, погиб праведный царь и все его христолюбивое воинство, и вышел тот самый арап из медной башни, спустился на дно морское и достал со дна морского черную книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не заклали ее в стены Сухаревой башни. До сей поры она лежит там, и не

было еще никого, кто бы сумел достать ее из стен Сухаревой башни. Она связана страшным проклятьем на девять тысяч лет с тысячью.

— Да как же он пробрался в стену-то, с пустыми руками к этому предмету не подступиться?

— А утопленник-то на что, э-эх ты, голова!

— И совсем не утопленник, а тараканщик.

— Конечно, тараканщик! — загалдели все в один голос.

— Да будет вам огород городить, — вступился здравый человек, — какую вы такую загадку разгадываете, когда все ясно, как Божий день. Дивилины, слава Богу, не щепотники, закон чтят, службу-то править надо, тоже собакой жить не полагается, вот тараканщик и ходит к ним службу отправлять и больше ничего.

— Бабы-то уж очень подозрительны... — усумнился который-то.

— Наладил: бабы да бабы, а сам хуже бабы!

— Старуха Аграфена с нечистым, говорят, зналась, и старшого, которому пропасть, понесла от чорта, да и эта их Глафира сущая Яга.

— И по какой такой причине утопленникова внучка Антонина безногая сидит? Нет, тут что-то неладно.

Снова начались догадки. Трепался язык во всю. И ссорились, и дрались, и опять мирились. Приплеталось и совсем неподходящее. Даже совсем неподходящее.

Был один человек ихнего же толка, который не только книги читал, но и сам что-то писал божественное. Ходили к нему за расспросами, но ничего не узнали, только еще больше запутались.

Человек этот такое им загнул словечко, поджилки затряслись и бороды сгунявились.

— Может статься, и Миша-то у нас того, не тараканьим ли делом промышлять стал! — не решив недоуменного вопроса, порешили.

Были и такие дотошные, выслеживать стали, кто в дом к Дивилиным ходит, но никого, кроме тараканомора, не встретили.

И согласились все на одном, что творится в доме что-то чудесное. И с течением времени никто уж не сомневался, что в доме нечисто.

Но что в доме делается, ни одной душе не было открыто.

*

Всякую субботу к Дивилиным приходил тараканомор Павел Федоров. Все сходились в образную. Павел Федоров облачался, и начиналась служба. Служба длилась долгая.

И когда кончалась всенощная, утомленную Антонину почти на руках уводила Глафира в детскую, а Дениску шлепками прогоняли спать.

Утром в воскресенье совершалась обедня. После службы обедали. И тараканомор уходил к себе домой.

Вот и все.

Так было при покойном старике. Так было и теперь, после его смерти.

Тогда утопленник был за священника, а тараканомор за дьякона, теперь за священника был тараканомор, а за дьякона ходила Глафира-Яга.

Вот и все.

Службы совершались чин-чином по уставу со всею строгостью, какая только отцами положена была.

Служил тараканщик с оттяжкою и гнусил на весь дом, благо еще стены толстые, а то бы в реке всех рыб посмутил.

У тараканщика лестовка ременная: лапостки алые с белыми и голубыми веточками, у Яги на лестовке лапостки черного бархата с синим ободком и все золотом расшитые, горят при свечах, что звездочки.

Вот и все.

А люди... люди чего не скажут!

8

Однажды, после долгой всенощной, Дениску прогнали спать. Лег Дениска, а спать что-то не хочется.

Вот он лежал-лежал, покликал было Антонину. Антонина не отзывается, сопит, — так истощали ее все эти стояния и поклоны.

Делать нечего, встал Дениска, походил по комнате, и взбрело ему в голову в потемках по дому побродить, а если придется, и Ягу попугать, — Ягу попугать, чтобы вперед не подзатылила.

И, держа в голове, как бы все это лучше обделать, вышел Дениска из детской, спустился с лестницы и уж хотел отворить дверь в коридорчик, окружавший женскую половину, да только дверь не поддается, дверь оказалась заперта. Что за оказия? Походил он вокруг. Приставил ухо к замочной скважине, — ничего не слыхать. Зашел с другого конца, и опять та же история.

Так и пошел ни с чем.

И долго Дениска ворочался, все головою раскидывал: отчего это дверь заперта — никогда дверь не запиралась! — и ничего не слышно, хоть бы вот этакий комариный зуд.

И снились Дениске всю ночь страшные разбойники, хотели разбойники не то живьем его проглотить, не то отрубить ему голову, — словом, что-то страшное сделать. Но Дениска не трусливого десятка, укусил главного разбойника за палец, и проснулся.

«Это дело нужно разведать; так оставить его нельзя!» — порешил Дениска и, сговорившись с Антониной, притворился на следующую субботу больным.

И чесался-то он и ерзал и перхал, и глаза му-

слил, и рука-то у него онемела, и в голове-то где-то в самом мозгу свербит, что страсть, и в ушах такой звон, — куда звон у Ивана Великого!

Ко всенощной его, конечно, не тронули, куда такого тронешь: прямо на ладан дышет.

А когда началась служба, Дениска шасть с кровати, спрыгнул да со всех ног в коридорчик, ключ от одной двери и прикарманил. Воротился опять в детскую, улегся, лежит.

Кончилась служба, Яга привела Антонину, а он себе мечется весь, будто в жару лютом, и кукишки кажет и язык высовывает.

Притворила Яга дверь, помешкала на площадке у детской и спустилась вниз.

И все в доме затихло.

Вот выждал Дениска время, да тихонько в коридорчик к двери.

Думает себе, так сейчас все и увидит, потирает руки от удовольствия. Ан нет, не тут-то, — толкнулся, а дверь-то не отпирается — заставлена.

Осмотрел Дениска все тщательно, понапер грудью — маленькую щелку сделал, да в щелку и юркнул. И пошел.

Столовую прошел, шкапную прошел, заглянул в боковые — нет ничего, темно. Обогнул Ягиную комнату, малую молельню и к образной.

Приставил ухо к образной и слышит: долбит тараканщик, а о чем долбит — ничего не поймешь.

Долбит и долбит. И опять тихо. И опять долбит, что твой дятел.

Пождал Дениска, послушал и только что уходить собрался, как вдруг, откуда ни возьмись, чья-то огромная нога — хвать его сапожищем, и наступила.

Хорошо, что у Дениски железная грудь, а то только мокренько бы стало, проломил бы его сапог, как пить дал.

Дениска свернулся в горошину, зажмурился да по полу ползком, по полу и покатился, докатился до двери, да в щелку, да в коридорчик, да по лестнице в детскую бух на кровать.

А в ушах так и долбит и долбит тараканщик.

Что за чудеса? Много Дениска с Антониной ломали голову.

Подступал Дениска к бабиньке, и так и сяк приставал к старухе, но старуха ни полслова, хоть бы что, только молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

9

Слух о том, что в доме Дивилиных неладно, исколесив много дорог, дошел и до гимназии.

Учитель географии, по прозванию Мокрица, будто случайно, спросил Дениску·

— Эй ты, как тебя, Дивилин, что ли, каких это у вас там в доме чертей вызывают?

Дениска Мокрице язык высунул.

Мокрица рассвирепел: заставил Дениску простоять битый час, не двигаясь, и сам стоял против Дениски и, не спуская глаз, следил за ним.

И Дениска, выпятив свою железную грудь, выстоял час, не только не шевелясь, но и не сморгнув ни разу. Не потому, чтобы боялся Мокрицы и слушался, а просто из ухарства и упрямства.

«И выстою, что—выкуси—а?!» — каменел каждый мускул на его детском нежном лице.

Но Мокрицей дело не кончилось.

Позвали Дениску к директору. Когда звали ученика к директору, это означало, что просто уж решено выгнать из гимназии. С тем пошел и Дениска.

Директор долго морил Дениску. Дениска стоял и смотрел на директора. Бритая директорская губа то поднималась, показывая волчий клык, то прикусывалась без остатка.

— Чем занимаются твои родители? — не глядя, спросил директор.

— Отец помер, — ответил Дениска.

— Чем занимаются твои родители в настоящее время?

— Капусту рубят.

Директор скосился.

— Я тебя про капусту не спрашиваю... — забарабанил директорский палец.

Дениска молчал.

— Ты у меня позанимаешься, наглый мальчишка! — уж грозился директорский палец, а острый камень перстня, сверкнув, кольнул прямо в глаза, — остаться после уроков!

Призадумался Дениска пуще прежнего.

Отпирал он запрятанным ключом дверь коридорчика, проникал к образной, прислушивался, слышал долбню тараканщика — и только.

Тут на грех пошли истории в гимназии, да такие, не было уж возможности продолжать свои наблюдения.

Много суббот пришлось Дениске отстаиваться в карцере.

И все из-за пустяка.

Как-то на большой перемене, пробегая мимо инспектора, Дениска, столкнувшись с ним нос к носу, крикнул:

— Леонид Францевич, в каком у меня ухе звенит?

— В левом, — ответил, не задумавшись, инспектор и вдруг побагровел весь: так ошеломил его Дениска своим неожиданным, недопустимым, прямо невозможным вопросом.

И за этот-то самый вопрос, а скорее за то, что инспектор ответил ему на недопустимый вопрос, наказали его жестоко.

В карцере Дениска не отсиживался, а отстаивался.

Стоял столпом, как велел директор, руки по швам, голову т а к. И старичок швейцар Герасим, хмуря седые солдатские брови, тоже стоял и наблюдал в окошечко, словно бы под туркой.

Дениска стоял, а сам думал: что же это такое происходит в доме у них, и все даже спрашивают, и всем интересно знать, а он не только не знает, а и узнать ничего не может?

И возвращаясь поздним вечером из карцера и не попадая уж к обеду, измытаренный после долгой всенощной, Дениска подолгу разговаривал с Антониной и гадал, и все об одном, о доме:

что за причина завелась у них в доме?

Антонина как-то сказала:

— Может быть, они там детей делают...

— Детей не так делают, — отвечал сурьезно Дениска, — ты ничего тут не понимаешь.

— Ну тогда что же можно еще делать? — поправилась Антонина, — карт в дому нет, отобрал тараканщик.

— Не люблю я эту собаку, такая собака, — огрызнулся Дениска.

— А по-твоему бабинька... — растягивая и что-то свое соображая, перевела Антонина.

— Бабинька помешанная.

— Грех так, она тебе мать.

— Кто?

— Бабинька.

— А твоя мать — Яга.

Антонина не ответила, только нехорошо сдвинула бровки.

— Яга говорит, будто твой отец от книг пропал, конечно Яга! от книг учителя делаются. —

— Я тоже не люблю тараканщика, — сказала Антонина.

— А знаешь, Антонина, я придумал. Я влезу в окошко.

— В окошко не видно, — покачала головой Антонина.

— Тогда вот что... я... Антонинка! Я просверлю дырку в образной, так — маленькую дырку.

Девочка сверкнула глазами:

— И все увидишь.

— Конечно, увижу, да как еще!

— И мне расскажешь?

Ударили по рукам.

А в доме принимались предосторожности.

Слухи ли по городу, либо еще какие подозрения, либо просто сердце подсказывало: теперь не только вечерами в субботу, но и в обыкновенное время запирались все двери и все комнаты, так что проникнуть в коридорчик никакой или почти никакой не было возможности.

Глафира ягела, тараканщик чертенел.

Одна старуха Аграфена безропотно, безмятежно все молилась да вздыхала, молилась да вздыхала.

А все же как ни как, а под разными предлогами удавалось Дениске урывать минуты и ковырять в двери дырку.

Целые недели старался, и к одной из суббот дырка поспела.

Как Дениска выстоял всенощную, одному Богу известно.

И когда все затихло, он спустился из детской, отпер своим ключом дверь, пробрался в коридорчик, и через столовую, шкапную, боковую прямо к дырке.

Антонина не могла заснуть, ждавши. Битый час ждала она Дениску.

Калечные мысли проходили в ее голове, отвратительные, недетские — калечные, и дразнили, и приманивали, и ужасом подымали волосы, и щемили ее больные места.

Тянулись минуты, они тоже, казалось, на костылях шли.

Сломя голову прискакал Дениска в детскую:

— Знаешь, что они делают?

— Что? — испуганно спросила Антонина.

— Они молятся.

Антонина заплакала.

Так ее измучили калечные мысли и ожидание чего-то страшного и необыкновенного.

А Дениска больше не знал покоя.

Одна мысль точила его, он все думал и думал: да чем бы это насолить тараканщику, и Яге заодно, какую бы такую штуку придумать, чего бы такое им подстроить, когда они молятся?.

Так проходили вечера за вечерами.

Все валилось из рук.

Сколько Дениска бумаги перевел зря: начнет рисовать, и разорвет.

— Они молятся, — повторял он и спохватывался, цепляясь за что-то, за какую-то дорожку, которая вела его к уморительной каверзе, — они стоят все трое рядом... они целуются... эта собака и Яга... они молятся...

— О чем же они молятся?

— Молятся. Видно только, как губы их раскрываются, и потом хлест лестовок, хлещутся.

Антонина насторожилась.

— А если... Антонинка, знаешь, я придумал, Антонинка! В эту субботу я проберусь в образную... — и Дениска затрясся весь от хохота и горел весь от мысли, мелькнувшей в бедовой его голове, — понимаешь, Антонинка? Ты понимаешь?

И шопотом на самое ухо он сказал что-то Антонине, покосился на дверь, потер себе руки от удовольствия и, схватив со стола снимку, принялся жевать ее во все скулы с наслаждением.

Красные пятна вспыхнули на бледном личике девочки, загорались глаза смехом и слезами.

И она вдруг захохотала, и хохотала, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать, и вся подпрыгивала, и костыли за спиной прыгали.

— Он? — подмигнул Дениска, вынимая изо рта снимку и принимаясь выделывать из снимки какую-то странную дьявольскую фигуру.

— Он! — хохотала вся в слезах Антонина.

10

Суббота выдалась особенная — масленичная. Всю неделю объедались блинами, разнесло животы во какие, куда гора! Уж и в горло не шло, душа не принимала, а все-таки ели. На то она и масленица не простая, а широкая.

Служба тянулась долгая, с такими бесчисленными поклонами и такими трудными: поклонишься, а сам и не встанешь.

Яга повела Антонину в детскую, девочка просто валилась.

А Дениска что-то замешкался: лампадку полез поправлять у Трех Радостей.

И что-то уж очень долго вертелся, так что тараканщик стащил его со стула, пхнул коленом.

Такой был суровый и мрачный в эту субботу тараканщик. С блина ли, либо то к нему подходило, — душа его начинала гореть, сердце стучать, нутро выворачиваться, — Бог знает. И когда он

пел, и когда гнусил молитвы, зубы его скалились, и весь он подергивался, будто держала его какая-то злая лихорадка, самая злющая из всех дочерей Иродовых.

Дениска кувыркнулся на пороге, но тараканщик поднял его и так саданул, что мигом очутился Дениска прямо на своей кровати.

И Антонина и Дениска притворились спящими.

Ждали.

Колотилось их сердце — ух как!

*

В доме мрак и тихо.

Все двери затворены и заперты.

Яга еще раз пробует ключ от двери образной.

В образной началось моление.

Он сегодня должен явиться, — сам Дьявол должен явиться, и не в тайном, в явном своем лике. В этот страшный день надлежит быть последнему дню. Они готовы. И пусть Он им явится. Они вступят в борьбу. И Он побежден будет.

Их трое. Трое верных. Мир и земля в грехе. Грех растет. С каждым часом внедряется грех глубже в сердце, в корни сердца. Но их трое. Трое верных среди неверия и греха. Ангел хранитель покидает землю. С плачем и скорбью летит ангел на небо. Кадильница его пуста. Нет фимиама молитв

и покаяния. Нет дел человеческих, угодных Богу. Дьявол все победил.

Они готовы. И пусть Он им явится. Они поразят его.

И вот они клянутся. Именем Бога, именем Христа, именем Святого Духа. Они клянутся любовью к Ним. К Богу, ко Христу, к духу Святому.

И они клялись. Душу положат свою, душу погубят свою, чтобы сохранить ее.

Они готовы. И пусть Он им явится. И они одолеют его.

Вспыхнут костром, — с ними вспыхнет земля и вместе все твари, — и станет земля и все твари белыми и светлыми, как белы и светлы ризы Господни.

А теперь им должно покаяться друг перед другом.

У Глафиры и Аграфены — великий грех на душе: однажды могли они показать свою веру и любовь к Богу. Но Дьявол смутил и поколебал их: они отвергли и веру и любовь к Богу во имя любви к человеку, — погани.

Когда умер старик, предложил им тараканщик принести в жертву Антонину, но Глафира и Аграфена хоть взяться-то и взялись, а не могли этого сделать.

Они каялись друг перед другом.

— Ты мне сказал, — исповедалась Глафира, — ребенок, которого я родила, самое любимое, что есть у меня, и во имя любви к Богу он должен умереть.

Ты велел мне отдать ребенка матушке. И я отдала ей девочку. И, как ты сказал, я осталась одна в комнате. Знала я, что за стеною делается, и слушала. И слышала я, как пискнула девочка. Потом все затихло. И ногтями я скребла стену, а сердце мое от горя полыхалось. Не могла больше вынести. Не послушалась. Бросилась я в комнату к матушке, а девочка жива еще, дочка моя, сидит она на руках и ротиком смеется. Тогда упала я на колени и просила матушку: «Матушка, не губи ее, оставь ее!» Господи! Господи! Господи! прости меня!

— Ты велел мне задушить младенца, — шопотом сказала старуха Аграфена, — и я взяла Антонину у невестки, понесла в образную сюда. Посадила ее к себе на колени, надела на шею петлю, а дитё улыбается, смешно ему: щекочет шейку петля. Я затянула петлю потуже, тяну веревку, и вот девочка заплакала, больно, ой, горько заплакала. Ослабила я петлю, сняла с шейки, надела на себя, будто играюсь, а девочка уж улыбается и смеется и в ладошки хлопает. Прости меня, Господи!

— А если бы теперь? — глаза тараканщика остановились страхом.

Глафира ринулась хищная, — хищные раздулись ноздри, как у кобылы.

Достойно есть величати Тя, Богородица,
Честнейшую и Славнейшую горних воинств,
Деву Пречистую, Богородицу...

— затянул тараканщик и, круто обернувшись к Глафире, ударил ее по лицу своей ременной лестовкой.

Не пошевелилась Яга.

Только струйка алой крови перемелькнула на Ягином смертельно-бледном лице.

— А если мы не достойны его увидеть? — шопотом спросил тараканщик.

И вдруг закричал громко, вонзаясь глазами в красный огонек лампадки:

— Заклинаю Тебя Богом живым, Святою Троицею, Матерью Божьей, стань тут, Сатана, стань! — стань! — стань!

Тяжкое молчание, невыносимое стянуло образную.

Хватало за горло, душило.

— Холодно, ой, холодно! — вскрикнула Яга и упала.

Звездочкой сверкнула ее лестовка по полу.

Тараканщик, сжимая кулаки, страшным глазом обвел комнату.

Глаза старухи голубые вспыхнули голубым огоньком, вся она согнулась и, казалось, бросится на тараканщика, вопьется ему в горло и пить будет его кровь, как пил бы его кровь сам Дьявол.

Тараканщик выхватил из рук ее белую жемчужную лестовку и, пошатнувшись, дрогнул с головы до ног.

На иконе Трех Радостей, там, где сли-

вается жемчужная одежда Божьей Матери с жемчужной рубашечкой Младенца, у благословляющих рук Младенца торчал на белом черненький чортик, растопыривая тощие ножки и егозя мышиным вертлявым хвостиком.

И оно наступало.

Наступал час тараканщика.

Занавески и расшитые полотенца на иконах текли перед ним длинными кровавыми струями, огонек лампадки надувался.

Оно наступало.

Старуха улыбалась — голубые глаза ее вспыхивали голубым огоньком.

Тараканщик стучал зубами: были они, как чужие ему, холодные, как лед. Глаза застилало. Спирало дыхание.

Оно шло верно и быстро, все ближе подходило, подкатывалось к его сердцу, трясло изо всей мочи, как никогда еще, ни там дома, с наглухо запертой дверью, над полыми предметами и стаканами, ни там в Зверинце, ни там на улице, ни там в грязных номерах.

И — ударило его.

Бросился тараканщик к иконе и, размахивая и крутя в воздухе жемчужною лестовкой, нечеловечески подпрыгнул.

И прыгал, и прыгал, доставал ее, белую, бело-

снежную, пречистую, срывая белые одежды и хлестал по ней.

Достойно есть величати Тя, Богородица,
Честнейшую и Славнейшую горних воинств.
Деву пречистую, Богородицу...

А черный чортик на уцелевшей жемчужине у Младенца, там, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери с рубашечкой Младенца, зацепившись хвостиком, непобедимый, будто егозил, растопыривая тощие ножки.

Градом катился жемчуг, осыпал тараканщика, колол глаза.

Разлетались жемчужины, прыгали по полу, плясали по Яге, голубым огоньком горели в глазах старухи.

И глухой собачий вой разрезал ночь, ночь и комнату, будто тысячи собак выли и грызлись, отнимая друг у друга единственный кусок п о г а н о г о сладкого мяса.

Старуха улыбалась.

*

Дениска, уткнувшись в подушку, захлебывался от хохота.

— Он! — пищал Дениска, — я его укрепил крепко на Т р е х Р а д о с т е й!

— На Трех Радостей, — повторяла горячими

губами Антонина, прижимаясь калечным телом к железной груди Дениски.

И бесившиеся вопли из низу и какой-то девичий, будто из земли, из крови выходящий крик не тревожили хохота, не смущали горячих детских и счастливых объятий.

— Он, — задыхался Дениска, — черненький, с лапками и с хвостиком.

— И с хвостиком, — шептала горячими губами Антонина.

Так и заснули Дениска и Антонина.

Крепкий сон залег в детской.

Спали рожицы и хвостики по стенам, спали пустые полки, спали карандаши и гумиластики и кусочки снимки, оставшиеся от чортика, как спали в непробудном сне непроницаемые серые стены Дивилинского дома.

И сквозь сон, казалось, один, безымянный сторожил сон спящих.

Кто он? Как его имя? Откуда он и зачем пришел?

Он стоял на площадке, приотворял дверь и, бескостный, тихонько на цыпочках подходил к кроватям.

Антонина и Дениска, перевертываясь на другой бок, раскрывали свои испуганные глаза под огромными, сверлящими огоньком острыми глазами.

Такой, как Амазон на картинке у бабиньки, только голова у него, будто не на шее — на винте,

все поворачивалась, как на винте. Длинные тонкие губы его — отвратительные, чуть улыбались.

— Он, — бормотал Дениска.

— Он, — повторяла Антонина.

И серел рассвет, вставал серый день там, за окном.

Там за окном лежала река, покрытая серым сколотым льдом. Дым клубился над городом из теплых труб. Спозаранку топились печи ради последнего дня — Прощеного воскресенья.

ЧЕРТЫХАНЕЦ

I

Старый Версеневский дом у всякого на языке.

Крутовраг — место нечистое.

Много любопытного и, конечно, страшного рассказывалось о доме.

Сам Сергей Сергеевич Версенев не из красноречивых, ну, да его дело — сторона, но Елизавета Николаевна и дети — гимназист Горик и гимназистка Буба — поговорить о старине любили, и с удовольствием, как в кухне за чаем любила потолковать нянька Соломовна, повар Прокофий Константинович и лакей Зиновий, только шопотом.

В саду у песчаной горки, сложенной в крепостное время детьми и стариками, показывали тинистый прудик, и в самую лютую зиму замерзавший только по краям вокруг студеного быстрого ключа, и притом, как уверяли, вовсе бездонный.

По ночам из прудика будто бы выезжала тройка и, завернув по липовой аллее, бесшумно подкатывала прямо к балкону: выходил седой старый старик — дед Версенева, подымался на балкон и, прогуливаясь, нюхал цветы или, нанюхавшись цветов, проникал

через залу в подвалы, и опять на тройке возвращался в свой бездонный прудик.

Под домом замечательны были два сводчатых каменных подвала: большой, пустовавший, и маленький, в котором стояли вина.

Из пустого подвала, где когда-то наказывали провинившихся крепостных, слышались по ночам стоны, а в маленьком, хранившем в старое время версеневские сокровища, звенело что-то, как звенит пересчитываемое золото.

В доме в первую голову водили наверх в угловую комнату, из окна которой видна была дорога.

В этой комнате в гардеробах висели старинные платья и стояла затейливая обувь — бабушкины наряды.

Говорили, что мать Сергея Сергеевича, Федосья Алексеевна, покинутая мужем своим в Крутоврагe, дни и ночи сидела у окна, и умерла так у окна, глядя на дорогу, понапрасну проглядев глаза.

Печально было в светлой печальной комнате и жутко, жутче и пустее, чем в большом подвале, стены которого испещрены были бурыми крапинками, как от крови. И по соседству с комнатою Федосьи Алексеевны никто не жил, а сложены были игрушки.

Хорами, разделявшими дом на две половины, следовали вниз и через просторную прихожую попадали в высокую, в два света, залу с высокими узкими зеркалами между балконных окон.

Зеркала, отражавшие люстру, навязчиво провожали своим тяжелым зеркальным взглядом.

Направо шли внутренние покои, заканчивавшиеся пристроенной кухней, налево — парадные комнаты.

В гостиной под фамильными портретами стояли ломберные столики, знававшие на своем веку большие азартные ночи.

У столиков ночью, так рассказывали очевидцы, появлялся отец Сергея Сергеевича, Сергей Петрович, отчаянный игрок, спустивший заграницей огромное состояние своей покинутой жены: он бродил от столика к столику, приподнимал половинку и шарил под сукном, надеясь, должно быть, найти какой-нибудь завалившийся случайный золотой.

Из гостиной водили показывать библиотеку и кабинет.

Тут, в кабинете, у шкапа с темным астрономическим глобусом, забившись в угол, умер Сергей Петрович, видевший перед смертью самых настоящих чертей, т. е. без рожек и хвостиков.

И хотя знал об этом один Сергей Сергеевич — одного лишь сына допустил к себе отец перед смертью, но рассказ о настоящих версеневских чертях, без рожек и хвостиков, можно было услышать по всему Крутоврагу, во всех уголках, от всех животных, начиная с глухого огородного деда Гордея и кончая крутовражской всемогущей швеей, Анной Федоровной Рафаэль.

Животными звал покойник Сергей Петрович всех без исключения простых, незнатных людей.

Осмотрев парадные комнаты и внутренние покои правой половины, разделенные широким темным коридором, заглянув в оба подвала, гости приглашались в столовую, где еще в недавнее время лилось разливанное вино, как недавно еще в гостиной сыпалось звонкое золото.

В длинной и низкой столовой заканчивались версеневские разговоры и всякие воспоминания.

Много еще любопытного и, конечно, страшного рассказывалось о доме.

И оттого долго так по комнатам горели свечи, не тушились, а ночной треск паркета далеко отгонял от дома всякий сон.

Белые колонны, тяжелые, как слоньи ноги, поддерживали звенящую под ветром крепкую кровлю и одни, казалось, и день и ночь, только одни спокойно дремали, не смущаясь ни рассказами, ни ночным комнатным страхом, ни летучими мышами, влипавшими в них, как мухи в няньку Соломовну, да старые деревья — тополи, переросшие дом, все шумели и в ясный день, как и в пасмурный.

*

Двери Версеневского дома настежь: входи, кто хочет и когда хочешь.

У Версеневых постоянно гости, круглый год — именины.

Родственники и знакомые, соседи и из города частенько наезжали в Крутовраг и, как в дедовские времена, не в одиночку и не парами, а всем домом — с фамилией.

Версеневы и в самые раздорные дни умели как-то со всеми ладить и всем были рады.

Весело, должно быть, бывало в Крутовраге.

Да и почему бы не быть в Крутовраге весело? Не все же ночь с ее страхами, есть и день. Да и что ночь, будь она и версеневская со всем своим глупым страхом?

Елизавета Николаевна, сама такая мастерица на всякие развлечения и первая во всем коноводчица, детей ни в чем не стесняла, давая им полную волю.

У Горика и Бубы много было сверстников: у Горика гимназисты, у Бубы гимназистки. Устраивались спектакли, ставились шарады, живые картины, постоянно фейерверки, пикники, всевозможные катанья и в экипажах, и верхом, и на лодках.

Какой уж тут страх и как не быть весело!

Недоставало только аэроплана, о котором у Версеневых мечтали, как в былые времена мечтали в гимназиях все о той же всегдашней Америке — бежать в Америку.

А попади такой аэроплан в Крутовраг — и ко-

нец: залетели бы Версеневы за такие облака, в такие темные тучи, откуда одна дорога — вниз головой.

С жаром и страстью предпринимались развлечения и начиналась всякая игра, и черезчур уж страстно и до смешного сурьёзно, как какое-то решительное дело жизни, без которого конец — ни стать, ни сесть, одна дорога — вниз головою.

Взрослые, заражаясь веселостью, приставали к детям. И версеневские неугомонные дни превращались в забаву.

Весело, должно быть, бывало в Крутовраге.

Устройство развлечений обходилось дорого, — оно требовало и больших расходов, и забот, и не мало рук. Случались недоразумения.

Но какое же разумное дело без недоразумений!

Эдуард садовник, выписанный в Крутовраг чуть ли не прямо из Риги, работящий, философ и большой искусник, одно лето вместо прямого своего дела — ходить за цветами и удивлять искусством — пускал по вечерам ракеты. Пускать ракеты наловчился, а цветы погибли, и какие цветы!

Да мало ли еще случаев — развлечения не дешево давались.

Редкий вечер не проходил без пожара.

За последние годы так часто горело, что даже звезды — крутовражские тусклые звездочки, пугливо поблескивавшие над Версеневским домом, не пугались вздувавшегося красного зарева.

Кругом по деревням то и дело жгли. И винили не столько оплошность, сколько поджог: всякий народ — экономии богатые.

Казалось бы, следовало быть поосторожнее — долго ли тут до греха! — а между тем первое удовольствие, первое версеневское развлечение — жечь.

Ракеты, фейерверки, костры: в лесу пекли картошку и так раскладывали костры — в летние ночи до зари не потухали костры, — в саду непременно фейерверки и опять костры. Без этого добра игра не в игру, вечер не в вечер, об ужине забудут, но о какой-нибудь чадящей на весь сад и далеко кругом распыхивающей искры персидской молнии... о молнии — никогда.

Версеневы жгли, где только можно, и когда совсем нельзя, жгли, что попало.

И в такой опасной игре Елизавета Николаевна не только потворствовала и потакала детям, но сама подавала первую мысль и была всему главной зачинщицей. Все опасные затеи выходили у ней с какою-то ребяческой плутоватостью, словно была она не мать, а сестра Бубе, и, ни в чем не уступая детям, она все делала с тем же сумасбродным жаром и страстью, до смешного сурьёзно.

Непоседливая и беспокойная — летом театры и эти костры, зимою всякие званые вечера и разъезды по соседям, — Елизавета Николаевна производила впечатление человека крайне легкомысленного.

И что же? Оказывается, все это делалось для детей и все огромные расходы, — все для детей.

Искренно и с убеждением говорила Версенева о своих обязанностях и с таким правом, что вся плутоватость ее, сшитая на первых порах белыми нитками, вдруг куда-то пряталась в ее испуганных глазах.

Соседские приятельницы, обладавшие необыкновенным даром рассказывать о всяких пустяках и с точностью в самых пустяковских подробностях, уездные знаменитости по пересудам и ссорам, с искусством безобидных блох запрыгивающие в самые потайные уголки, и те не могли никак подковырнуться, и никакого романа не выходило.

Дети здоровьем не отличались и, по существу своему замкнутые, пожалуй, и совсем захирели бы, — это она детей р а з б о й н и к а м и сделала, сама первая разбойница, это от нее так весело в Крутовраге и уезжать не хочется.

И затеи без нее не затеялись бы, и костры все погасли, — все ее рук дело, маленьких, проворных и таких цепких...

Нельзя сказать, чтобы Сергей Сергеевич был негостеприимен, напротив, радушен и ласков и бывал рад всякому гостю, и какими душистыми сигарами угощал он гаванскими — и бразильского листа и мексиканского!

Но уж так пошло и, казалось, иначе и не могло

быть: гости, охотно посещая Версеневский дом, избегали хозяина.

И секрет очень прост: с Версеневым бывало невыносимо скучно.

А так ничего, ни с виду, ни в манерах, ни в привычках Сергей Сергеевич не представлял ничего странного и дикого, — человек, как человек, ну, совсем как все, и даже посапывал по-настоящему, разве чуть погуще крутовражского предводителя Турбеева, но и чуть потише отставного генерала Белоярова. И одевался он щегольски, ничем не хуже земского начальника Пусторослева, прославившегося беспримерной забывчивостью как в делах частных, так и в служебных. Ну, чего же еще? И притом всегда готовый и всегда предупредительный, и те же гаванские сигары, и все-таки остаться на минуту с глаза на глаз с Версеневым... да лучше просидеть лишние сутки на какой-нибудь заброшенной станции, чем остаться с Сергеем Сергеевичем хоть на минуту.

Прервав на полуслове собеседника, Сергей Сергеевич начинал морщиться, стараясь не то припомнить что-то, не то подыскивая слово какое-то пояснее обыкновенных ходовых слов, а где-то в горле принималось пищать что-то. И так продержав ошарашенного собеседника в напряженнейшем ожидании, вдруг махал рукою, сопровождая досадливость свою и бессилие единственным одним излюбленным словом:

— Чорт.

— Чорт! — во все часы и днем и ночью повторялось без конца и в доме, и в саду, и в лесу, и на поле, и на речке, всюду, где только ни появлялся Версенев.

А Версенев, не отставая от веселой компании — его постоянно тянуло на люди, где пошумнее, посапывая, всюду следовал, как тень.

И затертый, оставаясь в тени, уж сам с собой повторял он под музыку, под танцы, под смех и крики, под треск костров, под рассыпающиеся ракеты свое единственное, все покрывающее — и досаду и бессилие — одно черное слово:

— Чорт.

И уж так все обвыкли, так прислушались к версеневскому чорту, что и замечать перестали.

Одна нянька Соломовна — Ефимия Авессаломовна, вынянчившая Сергея Сергеевича, открещивалась да головою покачивала.

А в кухне либо в девичьей, обсуждая господские дела, пеняла нянька не на расходы, не на расточительность версеневскую, не на хозяйский глаз — уж какой тут глаз! — а тому пеняла нянька, что чорт на языке постоянно у барина.

Известно, это всем известно от той же Соломовны, чем все такое кончается.

— Чорта помянешь в недобрую пору, пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет

человек в этом вихре! — твердила нянька, крестя рот да покачивая головою.

И все были в согласии с нянькой, особенно если дело шло к ночи, никто не противоречил. И сам повар Прокофий Константинович не насмешничал, зря не говорил кучер Антон, заодно были и все три горничных — Харитина, Устя и Саня, а с ними и прачка Матрена Симановна и плотник Терентий, помалкивал и лохматый, ни в какую сверхъестественную силу не верующий кузнец, по прозвищу Индюк, сам ровно колдун или Бог знает что, не усмехался и молчаливый Зиновий, не зубоскалил и помощник Зиновия, казачок Петр, до трепета верующий только в сома, только в страшного с усами сома, который съел телку и в двенадцать лет раз из речки показывается, не дай Бог увидеть.

— Так-то, — говорила Соломовна, — вот у покойника барина Сергея Петровича все у него под одну кличку шли: «Животное, скажет, поди сюда!» И даже самого батюшку животным звал. Грех великий, да все не такой.

А Сергей Сергеевич, измызганный среди своих, незаметно появлялся в кухне или в девичьей и, посапывая, останавливался.

Перепуганные вскакивали слуги, ожидая приказаний, готовые на всякую хозяйскую встряску.

Сергей Сергеевич не двигался и, в упор глядя на того же лохматого Индюка, который сам ровно кол-

дун или Бог знает что, начинал морщиться, стараясь не то припомнить что-то, не то подыскивая слово какое-то пояснее обыкновенных ходовых слов, а где-то в горле принималось пищать что-то.

И так продержав оторопевших слуг в напряженнейшем и тягчайшем ожидании, вдруг махал рукою, сопровождая досадливость свою и бессилие единственным своим излюбленным словом:

— Чорт!

— Чорт! — отдавалось где-то и в коридоре, и где-то под печкой, и где-то в подвалах, и где-то под потолком, высоко, на черном чердаке, перебивая музыку, танцы, смех, крики, рассыпающиеся ракеты и треск костров.

И на небе звезды — крутовражские тусклые звездочки, приглядевшиеся и к красному зареву, как-то неспокойно поблескивали над Версеневским домом.

2

Когда и отчего повелась за Версеневым такая дурная привычка чорта поминать, об этом никто не знал, потому что никто и не думал.

«Если все присказки, поговорки да прибаутки замечать да еще и думать о них, то и веку твоего не хватит, а главное, чего доброго еще и сам в нечто подобное превратишься и ничего от тебя не останется: мало ли какие бывают прибаутки! Вот

предводитель Турбеев к последнему пустяковскому слову, а непременно прибавит как говорится, и сходит у Турбеева все хорошо и благополучно. А крутовражский лавочник Хабин, переняв предводительскую манеру, чуть было не разорился. Да и как было Хабину не разориться? Взять хоть такое в обиходе лавочном самое обиходное лавочное выражение: «стоит это, мол, столько-то!» — выражение ясное и точно определяющее цену в рублях и копейках, у Хабина же с предводительской закваской совсем не тот разговор — не «столько-то рублей стоит товар», а «как говорится, столько-то»... Или: «пришлите, как говорится, немедленно». «Немедленно» — битый дурак поймет, а «как говорится, немедленно» — и не всякому умнику вдомек. Так и с версеневским чортом: начнешь вдумываться, разбирать да копаться, тут-то и перенимешь, свыкнешься, примешься сам повторять да и пропадешь. Старуха Соломовна все верно говорит — Соломовна крепостная, много чего видела и слышала не мало, многому научилась из терпения своего, слова Соломовны правильные: чорта помянешь в недобрую пору, пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет человек в этом вихре».

Так размышляли крутовражские и некрутовражские — все, кому волей-неволей приходилось сталкиваться с Сергеем Сергеевичем, и притом люди

не какие-нибудь, а начитанные и пытливые — доморощенные археологи и механики.

Так размышлял крутовражский поп о. Астриозов, всюду и везде ищущий, и в отношениях и в поступках, связующее звено, и не простое, железное звено — связующее.

О других версеневских знакомых говорить не стоит и нечего. Мимо ушей пропускали они версеневского чорта, не придавая ему ни малейшего значения.

«Ну поминает Версенев чорта и пускай себе поминает на здоровье! Есть выражения, обличающие сановитость и надменность — пустослевское изволите ли видеть, есть и божественное, свойственное людям восторженным — Господи Иисусе, а бывает, что и очень с положением люди и знатные, хотя бы тот же отставной генерал Белояров, а выражаются совсем даже по-непечатному и не от растерянности, и не от того, что врасплох застигнуты или в испуге, что возможно со всяким и до щепетильности аккуратным и изысканным в выражениях, нет, просто по привычке — такая дурная привычка».

Так размышляли люди безразличные.

Самого Сергея Сергеевича о чорте спрашивать не решались. Подтрунивать, конечно, подтрунивали, но чтобы напрямки спросить — никогда. Неловко же в самом деле касаться всякой мелочи.

А сам Версенев лишнего за собой ничего не замечал.

Ведь если бы замечал он, то когда-то-нибудь, ну случаем, ну невзначай, да обмолвился бы. А то сроду никогда, ни в каких именинных тостах, ни в каких приветствиях, всегда заканчивавшихся ч о р т о м.

Без чорта ни одной речи, ни одного разговора, ни одной фразы.

Но все-таки, когда же этот глупый чорт к нему на язык попал и отчего попал?

Одно было ясно: что не только никакого астриозовского железного связующего звена не было, но и самого обыкновенного не железного — версеневский ч о р т висел в воздухе не выше и не ниже предводительского к а к г о в о р и т с я, и так же не менее ясно было, что без этого чорта Сергей Сергеевич немыслим, и отними его от Версенева, и очутился бы в Крутовраге уж не Сергей Сергеевич Версенев, а лицо совсем постороннее.

*

Версенев помнил свою мать.

Федосья Алексеевна — московская, из старозаветной купеческой семьи.

Долгие всенощные, ранние обедни, бесноватые в Симоновом монастыре, масленичные катанья в Рогожской, красная пасхальная свеча, кремлевский

звон, первомайские зеленые Сокольники, тихие ночные рассказы странников, хождение пешком к Троице-Сергию, крестные ходы и отцовский крепкий домашний уклад, — это ее колыбельная песня, ее вынянчившая, завившая первую косу с алою ленточкою, вздувшая первый жгучий огонек и в упавшем сердце и в широко-раскрытых глазах, первою скорбью опечалившая ее первую улыбку.

Морозовская старая Москва, и вдруг Версеневский барский дом — Крутовраг с бездонным прудиком и большим сводчатым каменным подвалом, испещренным бурыми крапинками, как от крови.

Из смутных ранних воспоминаний вставала она в его спутанной памяти.

И никогда во всю свою жизнь он не мог забыть мать — у окна наверху, в угловой комнате, у окна по целым дням и ночам.

Он спал в ее комнате, — всегда и неразлучен с нею. И часто, просыпаясь среди ночи, заставал ее одну у окна.

А когда подрастать стал и узнал, что есть отец у него, как и у других детей, но что отец его далеко, заграницей где-то, очень далеко за Крутоврагом, когда узнал он, что мать ждет отца и ночи потому не спит, и сам стал ждать отца.

От отца получались письма.

С каким нетерпением бросался мальчик к матери,

требуя от нее, чтобы вслух читала она, что в письме отец пишет.

А письма были кратки, и всегда одно и то же: сперва о деньгах, затем назначался день приезда в Крутовраг.

И наступал день, но отца не было, отец не возвращался.

Мать старалась скрыть огорчение, не плакала, мать сидела у окна попрежнему, глядела на дорогу попрежнему, но он чувствовал всем чутким детским существом своим ту тяжесть, что лежала у нее на сердце, мучила ее, морозом трясла, и, чувствуя, хотел и не знал, как помочь, и уж сам плакал тихонько и беспричинно.

Возвращение отца в Крутовраг стало заветною его мечтою.

Своим чередом приходили письма.

В письмах говорилось о деньгах и назначался день приезда.

И приходил день, а отца все не было.

И вот однажды, когда, кажется, последнее терпение оставило его, и ждать дольше стало невозможным, он выбежал на дорогу и бежал долго по дороге без остановки, без передышки и, вдруг зажмурившись, помчался обратно к дому.

— Папа едет! Папа едет! — кричал он матери и с такою неподдельною и правдивою радостью, так уверенно, так настойчиво, что и сам слышал, и мать

услышала, как далеко по дороге за Крутоврагом зазвонил колокольчик.

И она поверила, она бросилась на крыльцо, упала на колени и, крепко обняв сына, крепко держалась за него, как за свою единственную защиту, как за любимого брата, как за верного свидетеля своих горьких мук, бессонных ночей, горечи и обиды.

И уж не сдерживая ни смеха, ни слез, не могла она удержать крика, а он рвался из груди, из самого сердца — от всего ее сердца.

Мать и сын, они глядели на дорогу —

И казалось, одни у них были глаза, одними глазами они глядели на свет, глядели на дорогу, и верилось им и не верилось.

А колокольчик далеко звенел по дороге.

Проехали бочки с дегтем, проскрипели колеса.

Долго застилала пыль. Но и пыль укатилась, — улеглась, не пылила дорога.

Лежала дорога до самого края, и кругом было пусто, пустынно, не звонил колокольчик, так пустынно и одиноко, только шумели деревья в саду — тополи, все шумели.

С этого дня началась для мальчика новая жизнь: стал он с этого дня играть в приезд папы.

Такую игру выдумал.

Его занимало, как мать, заслышав голос: папа едет! — вскакивала от окна и дрожала, бледная такая, без единой кровинки; его забавлял крик ее,

становившийся с каждым разом все жутче и короче, и как замирало ее сердце...

Играя, он верил, как всякий раз верила ему мать.

Мать и сын, они глядели на дорогу —

И это так давно было и так недавно, вот здесь, на этой земле.

А как тогда в саду деревья шумели — тополи!

невольно к этим грустным берегам...

— Чорт! — только мельком припоминая свои первые впечатления, отмахивался Сергей Сергеевич.

Мать не дождалась отца, померла, так и померла у окна, глядя на дорогу.

Вскоре после ее смерти вернулся отец.

Мальчик испугался отца: это был совсем не тот п а п а, не н а с т о я щ и й папа, о котором он столько думал и так нетерпеливо ждал.

Он прятался от отца, кричал по ночам и плакал.

Отец, не отличавшийся сговорчивостью, круто принялся за сына: и строго держал его, и наказывал — тут и слезы забудешь и уснешь тихо, и перестанешь дичиться.

Осенью свезли его в город и отдали в корпус.

И началась для Версенева другая жизнь и, пожалуй, самая веселая.

Приезжая на каникулы в Крутовраг, он понемно-

гу свыкся и уж не чувствовал ни подавленности, ни отчужденности.

О матери в доме не говорилось: Сергей Петрович никогда не упоминал о матери, а он первый не смел.

Угловая комната наверху, в которой, кроме фамильной старины — гардеробов с платьями, заботливо сохранялась знакомая обстановка матери: столик ее, зеркало, — эта заветная комната все реже привлекала его.

Сначала он тайком бегал наверх и даже плакал, сидя у окна, где когда-то сидела мать, а потом его развлекать стали лошади.

Так и не узнал он, а после жалел, что не узнал, зачем отец покинул мать.

В кабинете отца висел ее портрет, и всегда, до последних дней. Любил он ее?

В Крутовраге шла широкая жизнь, много играли в карты, но отец был угрюм. А если любил, зачем же покинул?

Зачем отец покинул мать?

И зачем столько муки, столько горьких дней и ночей выпало ей на долю?

невольно к этим грустным берегам...

— Чорт! — отмахивался Сергей Сергеевич, вспоминая прошлый Круговраг.

Окончив курс, он поехал в Петербург и там поступил в полк.

Жить ему было легко. В деньгах он никогда не нуждался: отец не жалел для него средств и высылал часто и аккуратно. Отец очень заботился о нем, все делал, чтобы хорошо ему было. И он ни на что не мог пожаловаться. При связях и деньгах перед ним открывалось самое завидное и счастливое будущее.

Жизнь он вел такую, как было принято в его обществе: играл в карты, участвовал в кутежах и попойках, танцовал на балах, рассказывал анекдоты, острил, ухаживал за дамами, входил в мелочи полковой интриги, волновался, ссорился, — и все проходило ровно и очень похоже на вчерашнее. А если что и случалось, как-будто исключительное и особенное, то все-таки оно не выходило из общепринятого и возможного в его обществе: ну, раз проиграл очень много в карты, но кто же не проигрывает раз очень много? Так и другие все исключения были в таком же роде, ни больше, ни меньше.

Ровно, с незначительными скачками проходила петербургская жизнь.

Кажется, и припомнить нечего Версеневу из всей такой удачной, легкой, с такими большими обещаниями, но ровной петербургской жизни.

И всегда только одно воспоминание.

Правда, ничего особенного, и случай самый обыкновенный.

Но много ли есть на свете чего необыкновенного?

Сергей Сергеевич уж после, в Крутовраге, не раз думал об этом и, спрашивая себя, один сам с собою судил и решал себя.

Он давно понял, что в конце-то-концов все дело не в особенности поступка, бьющей в глаза и выходящей из ряда вон принятого и привычного, и часто западает в душу совсем незаметное, — так, крохи, так, завалящее.

«Комета пролетит, упадет звезда, землетрясение провалит целый город — и все-то забудется, мимо пройдет, обесценит, как вчерашний снег, а огонек какой-нибудь, из-под моста откуда-нибудь огонек чуть подмигивающий тебе, либо дурацкий дылда-фонарь — коптилка керосиновая, торчащая под твоим окном на улице, — глупости, а на всю жизнь останутся».

Да, он много думал об этом, а судя и решая себя, заглянул в самую тьму, в самую муть души.

Только много ли увидишь?

А если и увидишь, много ли рассмотришь?

А если и рассмотришь, сумеешь ли передать?

А если и сумеешь, хватит ли духу?

«Убить или обмануть, оболгать и предать, кажется, чего еще — ведь преступление, грех великий, всякими законами караемый. А на проверку что же? Да тому же убийце... да плевать ему на убийство-то, — ну, убил, и как с гуся вода, — и все дело его, вся боль

его, кара и награда, все, что донесет он до последней минуты своей, все, чем жить будет, убивая или спасаясь, все равно, вовсе не в убийстве, а в том, что за день, за неделю, за месяц, за год, может быть, за десять лет до убийства, проходя по улице, девчонку какую-нибудь надоедливую нищенку толкнул — нищенки такие девчонки другой раз по улице снуют с какими-то замусоленными карточками: купите счастьице! — да и не в том, что толкнул он эту нищенку, предлагающую счастьице, а в том, что нищенка — девчонка мороженая посмотрела тогда, так посмотрела на него, — на всю жизнь».

— Чорт! — только мельком припоминая свой петербургский случай и рассуждения свои, отмахивался Сергей Сергеевич.

У одного его товарища была невеста: он очень важного рода, а она совсем не из знатных и бедная. Родственники жениха были против и всячески мешали свадьбе.

Сергей Сергеевич, приняв к сердцу историю своего товарища, постоянно бывал у него, искренно от души желая всякого счастья и ему и его невесте.

И когда, наконец, после многих хлопот все уж было налажено, и назначен день свадьбы, вдруг все кончилось неожиданно печально, и свадьба расстроилась:

невеста отказала жениху.

Версенев помнит вечер, осенний петербургский вечер с пронизывающим сырым ветром и мутными от мелкого дождя фонарями, помнит ее комнату где-то на Рузовской у казарм. Она просила его притти к ней все по поводу той же расстроившейся свадьбы. Он и поверил, но когда он пришел к ней, она открыла ему по правде...

Он помнит ее лицо, как побледнела она — так бледнела его мать, когда вбегал он к ней в ее угловую комнату: «Папа едет!»

Она открылась ему, что полюбила его, любит его, только его одного и любит.

Но ведь он ее совсем не любил. И разве он давал ей повод хоть что-нибудь такое думать? Он был к ней внимателен, как к будущей жене своего друга, он искренно от души желал помочь им: ей и ему. Он никогда не любил ее и совсем не любит.

Он помнит, как она стояла — она у окна стояла, к окну подвинувшись в угол, а в окне дождик — постукивал дождь, не передыхая, равномерно: капля за каплей, струйка за струйкой.

Он помнит, как она смотрела, не мигая, с опущенным ртом, и какими глазами провожала его, не шелохнувшись, словно уж костенея — ведь, всю кровь ее тела, всю силу души, всю надежду сердца он забрал с собою:

так вот, взял да и за дверь!

На следующий день под вечер он ее опять встретил, и совсем случайно, у Кокушкина моста.

Это она была, он не ошибся. Он ее узнал сразу по ее взгляду — она так же посмотрела на него, как и накануне, глаза не мигали.

И потом он слышал, как что-то бухнуло в гадкую липкую воду — в черный канал. Но он даже не оглянулся, шел своею дорогой.

И разве это он ее в канал головою ткнул — в гадкую липкую воду?

— Чорт! — только мельком припоминая свой петербургский случай, отмахивался Сергей Сергеевич.

Вскоре после этого случая, вызванный в Крутовраг, он уехал из Петербурга: отец был при смерти.

Старый Версенев Сергей Петрович умирал один, никого не допуская к себе — ни доктора, ни священника. И лишь в крайнем случае одно ж и в о т н о е — лакей Зиновий входил к нему. От еды старик отказался и ночи не спал.

И во всем доме никто не спал по ночам.

Жутко было в доме и говорить боялись, шопотом говорить боялись.

Свет горел во всех комнатах, все двери были настежь и только в кабинете у старика плотно затворены.

Сергей Сергеевич приехал домой поздно ночью и, чтобы не беспокоить отца, хотел сказаться утром. Но отец догадался и через Зиновия позвал его в кабинет.

Старик сидел в кресле, забившись в угол у шкапа под старым астрономическим глобусом, страшно исхудалый — в чем только душа держалась!

Старик ловил ртом воздух, словно бы кто-то сдавливал ему горло, а глаза были совсем мертвые — зрачки темные, мертвые, только ободок у зрачков блестел неприятным резким блеском.

Сын взял старика за руку и наклонился, — рука у старика была холодная.

И, наклонившись, чтобы поцеловать его в щеку, почувствовал непреодолимую брезгливость и отвращение и поцеловал его в воздух.

Поздоровались.

Старик поцеловал сына — губы у старика были такие холодные, холоднее рук.

Сын, выждав минуту, снова наклонился:

— Ну, как поживаете?

— Черти приходят, — шипя, сквозь зубы сказал старик.

— Какие же, маленькие, с хвостиком? — попробовал сын обратить в шутку ответ отца: он умел с стариками и ладить и разговаривать.

— Что ты, настоящие... черти! — прошипел отец, и глаза его еще темнее стали.

Версенев помнит эти глаза, совсем мертвые, с темными мертвыми зрачками, и резкий живой ободок зрачков, и как резкий живой ободок зрачков, сузившись, вдруг заблестел красным нагаром.

Он схватился за шашку и отступил от старика.

Старик, распахнув халат, судорожно заскреб себя по груди.

— Настоящие... — шипел старик и скреб себя по груди и, вдруг с визгом подпрыгнув в кресле, ткнулся носом в ковер.

Так вот о ком он когда-то столько думал и так нетерпеливо ждал!

Но что мучило отца?

Кого он видел?

Кто приходил к нему?

Кто настоящий?

Кто настоящей последней совестью, последней волею, последним словом положил свою руку на его сердце?

Кто же он?

— Чорт! — отмахивался Сергей Сергеевич, припоминая смерть отца, о котором он когда-то столько думал и так нетерпеливо ждал.

К новому году Версенев вышел в отставку, совсем переехал из Петербурга в Крутовраг, занялся хозяйством и женился.

Почему он женился, уж и сам хорошенько не помнит: должно быть, понравилась ему тогда Елизавета Николаевна — она была такая тихая и кроткая — тихий ангел.

Да и скучно ему было одному в старом доме.

Хозяйничал Сергей Сергеевич недолго. Попро-

бовал служить в земстве, но и тут не пошло дело, бросил службу. И все из-за пустяков каких-то. А понемногу, и совсем незаметно, от всего устранился.

Толковый и дельный управляющий-латыш, окрещенный в Крутовраге за свою угрюмость Фордыбаем, да Елизавета Николаевна, сумевшая наполнить старый дом несмолкаемым шумом и веселыми гостями, — все дела на них и вся судьба версеневская.

3

Горик и Буба учились хорошо и гимназию окончили с медалями. Горик поступил в университет, Буба на курсы.

Лето последнее прошло особенно шумно и весело и озорно.

Крутовражские мальчишки и забитые — Китов ус, Конский волос, Лопатка, и озорные — Игонька, Игошка, Енька, Ежка, Ермошка, под предводительством Горика, играя в экспроприаторов, так живо разыграли нападение, что соседние белояровские ингуши чуть было не пристрелили самого атамана.

Ракеты, персидские молнии рассыпались над домом, в саду дымили костры, а кругом пожары с разливающимся в ночи красным зловещим заревом.

Когда пришло время ехать в Петербург, Елизавета Николаевна тоже начала сборы.

И дети уехали с матерью, и уж больше не вернулись в свой веселый Крутовраг.

Елизавета Николаевна так и сказала мужу, что в Крутовраг она больше никогда не вернется и дети не вернутся.

Никакой плутоватости, никакой тихости не было в ее словах. Видно было, что она решила твердо и бесповоротно.

Сергей Сергеевич сначала ничего не понял, не хотел понять, — ему было и тяжко и неприятно, ему не хотелось расставаться, ему трудно было начинать жизнь по-новому, отвыкать от того, к чему привык, привыкать к другому, другую жизнь он просто и представить себе не мог — восемнадцать лет прожили Версеневы вместе!

И он пробовал возражать жене, и всякий раз только махал рукою: все возражения сводились к мучительному писку, подымавшемуся где-то в горле, а затем следовал всегдашний ч о р т.

Так ничего и не вышло.

И в конце-концов щ е т и н к у из него вынули, как выражалась нянька Соломовна — «щетинку» вынимают у детей-крикс в бане, чтобы не кричали! — он со всем согласился и подписал, что надо.

Относительно денег все наладилось легко и просто.

Латыш управляющий, толково и ясно предста-

вив положение версеневских дел, взялся доставлять всякие отчеты в Петербург Елизавете Николаевне.

И Крутовраг опустел.

Версеневское событие, облетев крутовражские поля, полетело по большой дороге, сворачивая то влево, то вправо из усадьбы в усадьбу.

И почему-то никого особенно не удивило оно, никого особенно не встревожило, словно давно уж этого ждали, и если не говорили, то единственно щадя, как не говорят, щадя, безнадежному о его скорой смерти.

Семейное разногласие, которому приписали отъезд и суровое решение Верселевой или с е м е й н а я р а з н о .... ц а, как выразился сосед Верселевых отставной генерал Белояров, любивший стиль живописный, заняло лишь уездных приятельниц, восторжествовавших теперь с своими тайными подозрениями.

«Кому же не ясно, что все дело не без романа, роман налицо, и самый настоящий и, хотя нигде не упоминалось об избраннике сердца, само собою, избранник где-то ходил, иначе откуда же все разногласие?»

Так размышляли дамы.

Но уж никто не хотел разбираться, не было охоты встревать в чужую беду, — с в о я х а т а с к р а ю, так-то спокойнее.

Неспокойно лежали поля и шумел золотой осен-

ний лес, неспокойны были и звезды — крутовражские тусклые звездочки, пугливо поблескивавшие над Версеневским домом.

Крутовраг опустел, и калачом не заманишь.

Правда, на первых порах явились три дамы — приятельницы Елизаветы Николаевны.

Не утерпев, приехали они в Крутовраг понюхать воздух, как сами же после объясняли.

Дамы осадили Версенева и трещоткою трещали ему на уши, так что и чорта своего пустить не мог он за трескотнею.

И хотя Соломовна, провожая последних гостей, русским языком растолковывала им, что «болезнь барина зубом барыне в спину вонзилась», и оттого все и вышло, дамы не могли примириться и, разъехавшись по домам, на своем стояли — на избраннике сердца, который где-то ходил.

Тут-то, говорят, отставной генерал Белояров, будучи на именинах у одной из дам, и выразился о версеневском разногласии по-своему — живописно, добавив, впрочем, для смягчения:

— Всему есть вес и мера.

Тем дело и кончилось.

А из соседей заезжал наведаться земский Пусторослев, прихвативший с собою агронома Рацеева, которого почему-то отрекомендовал знаменитым петербургским оратором с вязигою вместо костей.

Рацеев, действительно, не уступая стерляди,

перегибался все время, но не сказал ни одного слова. Зато сам Пусторослев болтал весь вечер, перебирая случаи из своей всем известной беспримерной забывчивости.

А историю о своей нашумевшей командировке заграницу для каких-то важных специальных целей рассказал и до ужина и после ужина.

Пусторослевскую историю Сергей Сергеевич неоднократно слышал: командированный министерством во Францию, Пусторослев из Франции поехал в Испанию, а из Испании в Италию, а из Италии куда-то в Алжир, и, требуя все время подкрепления и тратя уйму казенных денег, только вернувшись в Россию, вспомнил, зачем собственно послан был заграницу.

— Забвение — удел богов! — многозначительно растягивая свое изволите ли видеть, подмигивал Пусторослев белыми, как-будто ничего не видящими, безвекими глазами, намекая, должно быть, на разногласие.

Всего раз зашел лавочник Хабин чаю попить.

На безлюдьи Версенев страшно обрадовался и Хабину.

Хабин сидел долго. И за чаем в низкой длинной столовой, все начиная какой-то ни к чему не относящийся разговор по поводу каких-то отдаленных предметов и зарекаясь в тысяча первый раз отстать от своей пагубной привычки, завязал в своем как

говорится, а Сергей Сергеевич, в упор глядя на обалдевшего гостя, махая рукой, пускал своего чорта.

— Привычка, как говорится, вторая натура! — лепетал весь покрасневший, по́том прошибленный, измытарившийся лавочник, не находя уж дверей.

И только поп Астриозов, не оставлявший своей исконной мысли найти связующее звено и не простое, железное — связующее, нет-нет, да и заглядывал к Версеневу.

Поп, и без того робкого десятка, оставаясь один на один с Сергеем Сергеевичем, робел еще больше и, пристрастившись к сигарам, чавкал сигарой, пуская в версеневского чорта свое краткое, крепче крестного знамения, звено.

— Звено-с, — повторял поп, стряхивая пепел, и когда надо и когда не надо; и с мексиканского листа и с бразильского.

На безлюдьи Версенев страшно рад был и попу. А то все один, целые дни один.

Сергей Сергеевич перестал и в церковь ходить,— он уж и в церкви за службою не мог удержаться от своего чорта, что приводило в большой соблазн богомольцев.

Произошла даже неприятность: Головешкин староста пытался на царском молебне заушить масона. Сергей Сергеевич и перестал в церковь ходить.

В белом фланелевом бекеше, с сигарою, бродил Версенев по опустевшему дому.

От красного сигарного огонька красный огонек мелькал в его запалых потускневших глазах, и зеленели крепкие седые усы.

Занять время нечем ему было. Да и чем занять? Не играть же в игрушки!

Ведь он так привык к шуму и постоянным гостям, к жене и детям — восемнадцать лет прожили Версеневы вместе!

И не раз часами он простаивал у балконной двери, считал ворон — кружились вороны над опавшими голыми липами и кричали... сколько их, и о чем они все кричали?

А то подымался наверх в угловую комнату, где когда-то сидела его мать Федосья Алексеевна, садился, как мать, у окна и глядел на дорогу — куда уходила дорога, и есть ли конец ей?

Или слушал, как перед домом шумели деревья — тополи... о чем они все шумели?

А то сядет в отцовское кресло под огромный астрономический глобус, уставится в одну точку, может быть, в ту самую точку, откуда выходили к его отцу настоящие черти без рожек и хвостиков, да так и заснет.

— Чорт! — повторялось и день и ночь, и наяву и сквозь сон, отдаваясь по пустому дому.

С наступившими холодами вставили рамы, и

балконную дверь, забив щели свежею паклей, замазали.

А потом и снег выпал, стала зима.

Дни потемнели, прибавились ночи, — долгие ночи.

Еще пустее, пусто, как в большом подвале, пустынно стало в Версеневском доме.

Хоть бы сны снились тихие!

Как-то приснилось Сергею Сергеевичу, будто он — Версенев Сергей Сергеевич, отставной капитан сорока семи лет, а между тем по виду своему нет в нем ничего человеческого.

Снилось Сергею Сергеевичу, будто он — насекомое злое и мстительное, ядовитым насекомым, тысячехвосткой ползет в поле, цепляясь за стебли лапками. Холодный летний рассвет — утро чуть проясняется, и низкая, побледневшая добела с красным нагарным ободком огромная луна.

И вот он, Сергей Сергеевич Вереснев — тысячехвостка, ползет по траве и знает он, что по траве ползет, по самой обыкновенной крутовражской, но ему, как тысячехвостке, трава кажется такой большой и такой высокой, — стебли словно осока, осока — толще всяких деревьев, и черная земля огромными комками.

И тяжко ему и трудно ему: должен он влезть

на каждый стебель и опуститься, и опять подняться и опуститься, и так со стебля на стебель.

И он ползает и не знает, куда он ползает, и за что это наказан он переходить со стебля на стебель?

И злоба мучает его, и злость точит сердце, и устал-то он смертельно.

Огромная бледная, белая луна с красным нагарным ободком, и холодно.

Рассказав как-то сон свой о. Астриозову и получив от попа краткое толкование: к перемене погоды, Сергей Сергеевич улыбнулся:

— Странно мне, — сказал он, — точно все не настоящее.

А в другой раз, пытаясь рассказать сон Зиновию, на полуслове прервав себя, проговорил хрипло сквозь зубы, как покойник Сергей Петрович:

— Душу остригли, чорт! — и заплакал.

А Петру казачку будто бы сказал:

— Помереть бы мне, Петр, в нищете на соломе.

Скучал Сергей Сергеевич.

Без дела, без гостей одному зимою скучно.

— Бояться стали, — докладывала Соломовна о. Астриозову, когда на Рождество приехал поп с крестом Христа славить, — прежнее время, бывало, ничего, а теперь выбегут вечером ко мне из кабинета в девичью, боятся: будто стоит кто-то около их.

И все гостей ждут: вот гости приедут! А то сидят и плачут.

А на новый год не утаила Соломовна и покаялась попу в своих снах нехороших: на святках гадала Соломовна, оттого и сны ей приснились.

Святочные — вещие сны.

То ей приснилось, будто пол она моет, — а это нехорошо, когда во сне пол моешь!

то пожар — дом горит: горит будто дом, все доски разворотили и кирпичи вынимают из печки, а огня не видно.

— Я будто и спрашиваю, — двое каких-то мужиков у печки с кирпичами возятся, — спрашиваю я у них: «Как же это так?» А они говорят: «Мы, Соломовна, ничего не знаем».

Самый же главный сон — новогодний.

Снилось Соломовне, входит она будто в залу, а из балконной двери навстречу ей покойник Сергей Петрович и с ним старик старый-престарый, прихлопнули они дверь, да прямо к кабинету, сами рукою шарят, как слепые.

Но о. Астриозову не до нянькиных снов было, свой новогодний сидел у него вот где!

О. Астриозов многосемейный — семь душ на руках: старший сын — дьякон, младший — грудной. А по сну выходило чудно: старший-то будто в пеленках, грудной, а самый младший, который грудной,— бородатый дьякон.

— Звено-с! — повторял поп, забирая от Соломовны новогодний щедрый кулек.

Скучно проходили праздники.

И на кухне было невесело.

Разговор вели, как при больном, шопотом.

Компания старая — старик-повар Прокофий Константинович, кучер Антон, прачка Матрена Симановна, плотник Терентий, кузнец Индюк, лакей Зиновий да казачок Петр попивали чай вокруг Соломовны.

Недоставало только горничных: Харитину барыня с собою в Петербург взяла, а Устю и Саню рассчитали.

За чаем шли воспоминания, обсуждались версеневские дела и высказывались опасения за барина, которого рано или поздно попутает грех.

— Чорта помянешь в недобрую пору — пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет человек в этом вихре, — позевывала Соломовна, крестя рот да покачивая головою.

А Сергей Сергеевич, исходив все комнаты, вдруг вбегал в кухню и, посапывая, останавливался перед ошарашенными слугами и, уж глядя куда-то за бесстрашного лохматого Индюка, начинал морщиться, а где-то в горле принималось пищать что-то.

И вдруг махал рукою:

— Чорт.

— Чорт! — отзывалось где-то и в коридоре, и

где-то под печкою, и где-то в подвалах, и где-то под потолком высоко на черном чердаке и, ветром разносясь по саду, кружилось вокруг белых колонн.

*

Рождественские морозы сменились оттепелью.

В Крещенский сочельник вдруг по-весеннему закапало, а прудик пожелтел.

Потянуло весною.

Весь день с тревогою заглядывал Сергей Сергеевич в окна, растворил балконную дверь, долго стоял у балконной двери, прислушивался.

Весь день до вечера, места не находя себе, бродил он из комнаты в комнату.

А вечером, когда зажгли свет и весь дом осветили, стал он еще неспокойнее.

На воле таял снег, стучал по крыше, так дождик осенью стучит по стеклу — капля за каплей, струйка за струйкой.

После чаю Версенев поднялся наверх и затих.

Соломовна ходила внизу по комнатам, шептала молитвы, мелом ставила богоявленские крестики на окнах и дверях.

В угловой комнате наверху сидел Сергей Сергеевич и смотрел в окно.

Беззвездная ночь закрыла дорогу, и только голые ветви под ветром тянулись к окну.

Долго сидел Сергей Сергеевич без всякой мысли, бессмысленно глядя в окно.

И вдруг он услышал, как далеко по дороге зазвонил колокольчик.

Он вскочил от окна.

А колокольчик звонит.

Он зажмурился, заткнув себе уши.

Колокольчик звонит.

Хотел вниз бежать, позвать Зиновия, Соломовну, кучера, всех позвать.

А колокольчик звонит.

И не узнал он комнаты: там, где висело зеркало, открылась дверь.

И он вошел в эту дверь.

И дверь за ним захлопнулась.

Длинный, без конца, коридор.

И все как-будто знакомое: много мраморных плит — орнамент выпуклыми розетками, мозаика по полу — белое с красным.

Жарко, душно и сыро.

Он шел по коридору и знал, что должен пройти весь коридор до конца. И когда он дошел до конца и отворил узорчатую тонкую из чекана дверь, за дверью оказалась другая дверь. Он и эту отворил.

А там третья дверь.

И так дверь за дверью: отворит одну — и сейчас же другая.

И по мере того, как уходил он куда-то, растворяя дверь за дверью, он чувствовал, что надо ему, хоть на минуту, остановиться, ну вверх посмотреть, ну оглянуться, хоть на минуту одну, иначе беда — не сдобровать ему, и не мог ни остановиться, ни поднять головы, ни оглянуться, словно кто-то вел его и еще другой кто-то сзади подгонял.

И когда, наконец, растерявшись, бормоча всякий вздор и отсмеиваясь и отругиваясь, он отворил последнюю дверь, — так показалось ему, что последнюю дверь, — чем-то острым ударили его в спину, и он упал.

Упал он, и, падая, увидел, как звезды — крутовражские тусклые звездочки, разгораясь все ярче, все яснее, красные звезды дико вихрем неслись прямо на него.

Но это не звезды, это сам он несся в вихре под красные звезды.

*

— Мелила я крестики, окрещивала окна и двери, — рассказывала после Соломовна, — и кличет меня Зиновий: «Назар скотник пришел, святой водицы просит богоявленской». Вышла я в кухню к Назару и слышу, ровно балконная дверь хлопнула. Думаю себе, не грех ли какой: времена неспокойные — всякий народ. И опять слышу, хлопнуло. Я и говорю Прокофию Константиновичу:

«Прокофий Константинович, говорю, слышите?» «Слышу, говорит, слышу, ветром пуляет». И только это он сказал, в третий раз хлопнуло, — все стекла затряслись, так хлопнуло. Бросилась я в залу: так и есть — дверь настежь. Кричу Зиновию: «Где барин?» Нет нигде барина. А ветром так и садит. Вдвоем дверь не можем затворить. Так и рвет дверь. И гудит по всему дому, свет гасит. «Барин, кричу, барин!» Нет барина.

На утро в Крещенье нашли Версенева в прудике, по следу нашли:

от балкона след по аллее прямо к прудику.

Видно, грех попутал Версенева!

Забрел он ночью к прудику, лед под ним и не выдержал. Провалился он, завяз по грудь в тине, за ночь его и затянуло.

Так и замерз, стоя, в белом бекеше, головою в снег.

И много же было разговору потом, — весь Крутовраг на ноги подняло, — да разговорами сыт не будешь.

СУД БОЖИЙ

1

О. Иларион — монах угодный, умен и верою крепок — с т а р е ц.

Как казначей и духовник — на виду и сам всякого видит. Бдительный — не пропустит ни одной службы. Много лет бессменно и в безмолвии у мощей стоял. Говорят, прозорливый. Оттого, должно быть, в монастырь народ идет побывать на духу у старца. Строгий и взыскательный, потачки не даст, а глаза хорошие — всю душу выложишь. Высокий, прямой, борода седая, длиной в меру — не песья. Быстрый, не побежит, а всюду поспеет. И узнаешь, не глядя: мантия, как у прочих, а шуршит, словно гофреная. В этом шуршаньи богомольцы и братия особую благодать видели.

В монастыре он давно, а когда и почему — неизвестно. Одни говорили, что от несчастной любви, а другие — что возлюбил еще с юности пустыню, а третьи — ничего не говорили, во все веруя.

А было вот что: много разного складывали.

Показывали, например, в монастырской ограде кедры, будто бы вывезенные старцем в Москву с

Вычегды из пустыни, а кедры были такие огромные — век, а то и боле.

Показывали также вериги, с отроческих лет носимые будто бы старцем, и эти вериги — тяжести непомерной — надевали обыкновенно на бесноватых: шибко от бесов помогало.

И все в таком роде. Впрочем, что же? — по заслугам и честь, так из головы не выдумаешь.

Всякий раз, когда в монастыре подымался трудный вопрос или требовалось уладить какое-нибудь запутанное дело, на совет к настоятелю призывался о. Иларион.

И не без проку: старец, обсудив вопрос, удалялся в церковь и, один промолившись ночь, выносил утром решение, и было оно мудро и всегда на великую пользу. Живи, не бойся!

Случилось однажды, киевский владыка, гостя́ в Москве, посетил монастырь и, прожив в нем некоторое время, уехал, тронутый и довольный строгим уставом и образцовым монастырским порядком.

В благодарность за такое внимание решено было послать владыке подарок.

А так как слыл владыка за большого молебника, то из всех монастырских сокровищ выбрана была чудотворная и издавна чтимая икона Божией Матери, именуемая С к о р б н о ю.

Рассказывали, что во время пожара, случившегося однажды в монастыре, когда середина и крыло

иконы, изображавшие Исуса и Предтечу, погорели до-тла, она одна уцелела в огне нетронутой.

На ней представлена была Божия Матерь, как стояла Она у Распятия.

Образ был древний, лик темен, но из теми явственно виделись и скорбь, и мука, и вся горечь, и глубокое покорство святого сердца, через которое судимо было, чтобы прошел меч. Украшенная богатою ризою и цветными камнями, икона была по размерам небольшая — под силу одному унесть.

Отвезти драгоценную святыню в Киев поручено было о. Илариону.

2

С первого шага пошли неудачи.

Купэ второго класса, в котором поместился о. Иларион, заняли еще три пассажира. И это было бы куда ни шло. Вскоре же оказалось, что все они хоть и очень приятные и услужливые спутники, но курильщики самые отчаянные. И это было совсем некстати: ехать до Киева приходилось целые сутки, а от табачного дыма у о. Илариона кружилась голова и болело сердце. Что было делать? Просить не курить — совестно, перейти в другой вагон, — места нет.

И вот, чтобы как-нибудь уберечься и в то же время не стеснять своих соседей, о. Иларион, выждав контроль, вышел на площадку и решил стоять на площадке весь путь до Киева.

Погода выдалась теплая, и продувавший ветерок не мешал: легко овевая лицо, подымал он вскрылия клобука и играл в них, шелестел ими, как крыльями.

Любо было и хорошо!

Весенние поля, лес и река шли чередом.

Дружная широко полегла зель и туда и сюда и, благодатная, укрывала душистым ковром необъятный край земли до небесной сини и словно все кликала кликом реющей песни своего жаворонка,

а лес, зеленея молодою клейкою листвой, что-то все говорил, шумя,

а пробегавшие реки и речки, вырастая под половодьем, полноводные, гудели, куда колокол.

И оттого ли, что столько лет проведено было однообразно, на одном месте в стенах городского монастыря, среди свечей, лампадок и ладана, или еще от чего, что доносилось ветром и касалось глаз с этой шири и дали, почувствовал о. Иларион, как стало ему весело и радостно как-то.

Пускай одежда на нем темная и голова его — седая и душа, принявшая многое множество и самых отчаянных и самых горьких признаний, отягчена и утомлена чужими грехами и тайнами, а там — все молодо, а там — все полно неведения, он нисколько не представляется чужим, ни одиноким, и вид его не режет глаз.

Была ли это молитва — и старец молился без

слов и мысли единым духом, как преподобный Коряжемский Логгин молился среди своих печальных кедров белою ночью всю ночь до колокольного звона, плывшего по реке из Соли Вычегодской.

Или проходили в нем воспоминания, но какие? — не тех же дней, которые с болью прожиты и лишь теперь благословлены? — Нет, не этих дней.

И что за голос он слышит, и куда зовет этот голос?

Или видел он руку, показывающую ему дорогу, но не назад в монастырь, а куда-то в эту ширь и даль:

> там ложе — земля, а покров — небо.

Он стоял и, не отрываясь, глядел вокруг.

И если бы захотел в те минуты собрать свои мысли, они не сказались бы. И было так весело и радостно как-то.

Слезы сами собою подступали и крупные катились из засветившихся, веселых и кротких глаз.

И время неслышно шло.

«А не искушение ли это?» — шевельнулась чуть внятная мысль, и тотчас о. Иларион перевел глаза и, вздрогнув, потупился:

> какой-то господин, стоя у двери, выходящей на площадку противоположного вагона — первого класса, упорно смотрел на него.

— Искушение! — сказал сам себе о. Иларион и, подтвердив словом свою предательскую мысль, всполошил мысли:

они лезли в голову всякие, и подонки их.

Чувствуя на себе неспускаемый взгляд, старец схватился за четки и с каким-то остервенением принялся читать положенную молитву и, читая ее, затверженную, потерявшую всякий смысл — пустую, стал убеждаться, что все только-что бывшее с ним — нечисто.

«Дьявол, — распалялся монах, — Сатана, радующийся, когда удается ему обойти человека: заставить размякнуть человека и разнюниться. Все от Дьявола. Скверную шутку сыграл с ним, нечего сказать! Замутил ему память... Да разве он, столько лет проведший в монастыре и столь много потрудившийся для своего и чужого спасения, мог сам собою забыть пример старца, имя которого принял и житию которого следовал? А как поступил т р о е к у р о в с к и й старец, попав однажды в такое же положение? Выведенный по весне в садик, старец сказал: Х о р о ш о, о ч е н ь х о р о ш о, п о ж а л у й, з а х о ч е ш ь и е щ е! и велел вести себя обратно в келью».

Подводя итог пережитому, о. Иларион укорял и превозносил себя.

Он допытывал: какой это иной путь указан ему? И разве мыслимо оставить ему монастырь?

Он один вот этими руками устроил монастырь, и без него пропадет монастырь.

А все эти люди? Ведь только из-за него они идут, от него ищут себе утешения. Что они без него будут делать? Куда денутся? — Очумеют в своей темной и жалкой жизни, как псы, подохнут без покаяния.

А! он догадался! Он знает этот путь. Знает, куда ведет эта дорожка. В мир звал его Сатана, красотою, полями соблазнял его. Нет уж, ошибся. Не будет этого, как не может быть снег черен, соль пресна! Он оставил мир, чтобы спасти его. Это единственное, чем жил он, живет и будет жить. И знает он, как спасти мир, знает он, кто виновник страдания.

Еще в молодости, как изведывал и пробовал жизнь, ходя среди людей последним блудником, вором и пьяницей, еще в те годы, когда, чувствуя силы, искал он себе дела, эта мысль о спасении — а он давно это понял — не покидала его: он ею только ведь и мучился.

— Господи, помилуй мя! — произнес о. Иларион глухо и с какою-то обидою, что вот Господь попустил искушать его.

И, подняв глаза, он снова встретился с упорно направленным на него взглядом:

наблюдавший за ним господин, выйдя на площадку, стоял теперь прямо против него.

Коробило от этого взгляда.

О. Иларион, бросив молитву, стал оправляться: поправил клобук, поправил наперсный крест, поправил рясу.

Но одежда все как-то лезет на нем. И стоять становится трудно.

Воды бы попить!

И в ушах звон: назойливо стучат колеса и где-то неприятно лязгают цепи.

Какое-то утомление клонит его.

И ему хочется опуститься тут же на площадке, вытянуть ноги и заснуть.

Он долго боролся, брался за четки, таращил глаза, переминался, но силы оставили его, и, не заметив, стоя, он заснул.

И хотя спал он всего ничего, тягучий и безобразный сон довершил весь его страх и беспокойство.

Представилось о. Илариону, будто он в монастыре, сидит в трапезной за столом и ест котлеты. А перед ним стоит его любимый ученик, умерший несколько лет назад еще юным, и служит ему. И вот, будто ест он эти котлеты и, входя во вкус, начинает соображать, что котлеты не говяжьи, а сделаны котлеты из мяса, вырезанного из ног этого любимого ученика, и ясно видит он те самые места, откуда вырезано на котлеты.

*

Очнувшись, о. Иларион вошел в вагон.

Купэ от папирос дымилось, а спутники, примостившись, резались в карты. Тут же стояло угощение. Заметно было, что не без усердия прикладываются к рюмкам. И было очень весело.

Наперерыв друг перед другом бросились соседи потчевать о. Илариона, но он, от всего отказавшись, попросил только воды. Воду скоро достали. И не выпив и несколько глотков, о. Иларион почувствовал утоление.

Присел к соседям и, насколько позволяли силы остаться, оставался в купэ.

Беззаботность ли и веселье его спутников, перемена ли места, но что-то отрезвило его, и он снова вышел на площадку.

Был уже вечер. Село солнце. Попадавшиеся поля, лес и реки ложились по сторонам затуманенные и затихнувшие, и лишь вечерние птицы робко начинали свои поздние песни.

А вечерница — первая звезда, восходя по небу, зажигала свет свой.

Тихий свет тихо входил в душу старца, наполняя ее смирением и покорностью.

Ожесточенности не было, а с нею улеглась гордыня. Он уже не думал о своих заслугах и трудах, ни о том, как спасает себя и других, не поминал дьявола, который будто бы только и ищет, чтобы смущать его, не роптал.

Это был уж не прославленный старец, а простой монах, к которому тянуло и которого любил народ.

Между тем, все тот же господин, следивший за ним, перешел на его площадку и стал с ним рядом.

И опять страх еще пуще овладел о. Иларионом, но он не пошевельнулся и продолжал стоять смиренно и покорно, готовый все вынести, что бы ни случилось.

А что могло случиться, ясно ему не представлялось.

Он чувствовал только недоброе что-то в соседе и в том, что этот сосед неотступно преследует его.

Так стояли они плечо в плечо.

Погаснул вечер. Темная протянулась ночь.

Безветрие и тишина.

И слышны были лишь стуки сердца.

— Батюшка, — сказал незнакомец.

О. Иларион повернулся и, смиренно наклонив голову, дал понять, что готов на все ответить, что бы ни спросили его.

— Вот я все смотрю на вас, — продолжал незнакомец, — и никак понять не могу, скажите, батюшка, почему это вы стоите тут: и днем стояли, и вечером, и сейчас?

— В нашем вагоне курят, я не могу выносить дыма: у меня голова разбаливается и сердце. Я и вышел сюда.

— А вам далеко? — полюбопытствовал незнакомец.

— В Киев, по поручению настоятеля, — сказал о. Иларион.

— Так знаете, батюшка, переходите ко мне: у меня свободно, отдельное купэ, и в целом вагоне, кроме меня, никого нет — пустой вагон. Мы вместе и разместимся, одному очень скучно.

Голос незнакомца пресекался, какая-то затаенная мысль, которую он уж не мог удержать в себе, а с нею и тревога прозвучали в его словах.

И это не внушало доверия.

И вид незнакомца: это был молодой человек самый обыкновенный, каких часто встречаешь, без всяких приметин, — все было на своем месте, правильно, но почему-то тоже не внушало доверия.

О. Иларион хотел было отказаться, но, и не сделав даже попытки, как-то помимо воли дал согласие.

Сказав, что хочет взять вещи, он пошел в свой вагон.

Страх не отпускал, что-то предостерегало его не возвращаться.

И сделать это было легко: в купэ все спали и он, в свою очередь, тоже мог бы лечь и хорошо выспаться, курить не будут.

Присел о. Иларион на диван, и стал уж успокаиваться, но, не прошло и минуты, вдруг поднялся.

Совесть заговорила в нем. Совесть укоряла его

в малодушии и повелевала немедля итти и не бояться, потому что он — монах, а монах ничего не должен бояться.

Забрав с собою чемодан с чудотворною иконою, о. Иларион вышел из вагона.

Молодой человек, поджидавший его на площадке, помог ему перейти в свой вагон и, введя в купэ, затворил дверь.

И снова одни с глаз-на-глаз они остались в пустом вагоне, сидя друг против друга.

Впрочем, молодой человек не заставил себя ждать.

— Я так измучился, батюшка, — заговорил он, волнуясь, — просто нигде себе места не найду, пробовал читать, не читается, и спать не могу, вышел на площадку — одному тут жутко и скучно! — вижу, вы стоите, и стал я наблюдать за вами, и чем больше вглядывался в вас, тем больше вы мне нравились, и решил я: спрошу у вас, и как вы скажете, так я и сделаю.

— Говорите, — тихо произнес о. Иларион, — что в моих силах, помогу вам, — и привычно приготовился слушать и все принять, что только может открыть человек от первого преступления до последнего злодейства.

— Я единственный сын, — начал спутник, — родители мои очень богатые люди в Киеве. Когда я был еще мальчиком гимназистом, они выбрали мне

невесту, и сказано мне было, что, когда я кончу университет, женюсь на ней. Она — моя сверстница, и мы часто вместе проводили время. Сначала, как дети, играли, потом стали вместе читать, ходили в театр, танцовали. Отношения у нас были самые лучшие: я к ней, как к сестре, она ко мне — как к брату. Кончив гимназию, я поехал в Москву в университет. Сначала мы переписывались: я скучал один. Но потом, вот уж два года, как я встретил одну девушку, полюбил ее, и мы сошлись. Родился у нас ребенок. В Киев родителям, не желая огорчать их, я ни слова не написал. Это для них было бы настоящим горем. А ее я как-то упустил из виду и даже забыл, что есть у меня какая-то невеста, и что я только на ней и могу жениться. За все это время, отговариваясь разными делами, я ни разу не был в Киеве. Наконец, я кончил университет, жили мы хорошо, я начинал подумывать, как нам устроиться, и вдруг получаю от отца телеграмму: требует, чтобы немедленно я приехал в Киев, и что день моей свадьбы назначен. Сперва я не хотел ехать, мне казалось невозможным и диким такое требование, но потом что-то заколебалось во мне, стал я думать и, в конце-концов, взял и уехал. А как сел в вагон, так опять сызнова и пошло: и ни в чем уж теперь разобраться не могу, все у меня перепуталось. Вот я и решил спросить у вас, и как вы скажете, так я и сделаю: ехать ли мне в Киев или обратно в Москву?

— Какие пустяки! — сказал о. Иларион, — прямое дело ехать вам в Москву.

— В Москву? — спутник при этих словах так подпрыгнул от радости, что чуть в окно не выскочил.

— Конечно, в Москву: раз вы полюбили, то надо и быть вам с теми, кого вы любите.

Сказав это, о. Иларион почувствовал, как что-то тяжелое отлегло от сердца.

Откинувшись на диван поудобнее, совершенно спокойный, он просто руками разводил, вспоминая пережитое за день.

Откуда у него страх явился перед этим несуразным человеком, который сам себя опутал кругом, и история которого, впрочем, как и большинство историй, выеденного яйца не стоит?

А несуразный человек — спутник старца, тем временем о себе рассуждал.

Как же это он так поступил необдуманно и, Бог знает, из-за чего, — из-за каких-то капризов родителей поехал в Киев, чтобы связать свою жизнь с нелюбимым человеком, оставив жену и ребенка, которых он любит. Да ведь он своим глупым поступком мог бы всю жизнь себе искалечить, и не себе только, ведь он даже не сказал ей, зачем едет, и узнай она настоящую причину, возможно, не перенесла бы...

И, словно очнувшись от какого-то продолжительного глубокого обморока, он бросился собирать свои вещи, чтобы на первой же станции, ни минуты не

медля, пересесть в другой поезд и ехать обратно в Москву.

В ожидании счастливой остановки, болтая всякий вздор, сколько любопытного успел передать он и про своего маленького сынишку, и о всех своих планах, и как его встретят, и как они заживут спокойно, и как он когда-нибудь жене все расскажет, и сколько будет смеха, а какие зимой вечера у них будут! — и куда они на будущий год поедут, и какие игрушки он купит.

Затем начал рассказывать какой-то анекдот, и на самой соли его, не кончив, сам первый же стал смеяться, и смеялся на весь вагон раскатисто и молодо, словом, переродился: и не узнаешь.

Поезд приближался к станции, и оставалось всего каких-нибудь две-три минуты, как вдруг страх больший, чем все бывшие за весь путь, охватил о. Илариона.

— Постойте, — сказал он счастливому своему спутнику, который уж одной ногой был за дверью, — обождите немного... Я только-что сказал, что надо вам в Москву ехать, и считаю, что по моему разумению другого выхода для вас нет, но я — человек, и как человек, могу ошибаться. Признаюсь, сегодня, когда мы там стояли, я подумал, что вы замышляете что-то недоброе, что вы, может быть, убить меня хотите, а, ведь, на самом деле вы оказались простым и добрым человеком и зла мне никакого не сделали.

Вот я и хочу предложить вам: сделаемте так, как делается у нас в монастыре. Обыкновенно в трудных вопросах, когда представляются несколько решений, мы пишем на записки и кладем у иконы. Потом, помолившись, вынем одну записку, и как в записке говорится, так и поступаем. За всю мою жизнь не было случая, чтобы указанное таким образом решение приводило к чему-нибудь дурному, ибо решение это божеское и ошибаться не может. Согласны ли вы поступить так?

— Согласен.

— И что вынется, то и будет, — повторил о. Иларион.

— Раз вы говорите, я согласен.

В это время подъехали к станции, и молодой человек, видимо, загрустил, но когда снова тронулся поезд, он понемногу вошел в колею и, хотя смеха не было слышно, вид у него был веселый.

Помогая о. Илариону распаковывать чемодан, он заранее был уверен, что божеское решение, которое сейчас скажется, не может не совпадать ни с здравым смыслом, ни с мнением старца.

Взяли они икону, поставили на столик, написали две записки, свернули записки в трубочки и, положив перед иконой, стали на молитву.

И молились горячо и долго, не слыша ни звонков, ни остановок.

Не заметили, как и ночь прошла и светать стало.

Только когда поднялось солнце, о. Иларион, положив последние три поклона, вынул записку.

Молча прочитал ее, молча передал своему спутнику.

— Такова воля Божья, — сказал о. Иларион твердо, но с упавшим сердцем.

— Воля Божья, — повторил за ним сухими губами его убитый, опечаленный спутник.

И больше они не проронили ни слова.

В вагоне было душно и неуютно.

И хоть бы окно раскрыть!

А там вместе с солнцем проснувшаяся и цвела, и ворковала лебединая степь, широкая — до самого моря.

Совсем близко около Киева, когда отобрали билеты и о. Иларион поднялся, чтобы итти в свой вагон, молодой человек остановил его, прося исполнить просьбу:

притти к нему на свадьбу.

— Это последняя к вам просьба, батюшка, — сказал он, — непременно приходите, — и назвал старцу день, час и церковь.

К счастью оказалось, что день этот о. Иларион проведет еще в Киеве, и он пообещал.

Так они и расстались.

Уж навстречу поезду выходили с холмов белые церкви, и поезд, перейдя Днепр, приближался к вокзалу.

О. Иларион, простившись с своими спутниками, вышел с чемоданом на площадку.

Среди встречающих ему бросился в глаза старик с пожилою дамой, а с ними барышня, они направлялись все трое к вагону первого класса.

И о. Иларион сразу догадался, что это — отец, мать и невеста его несчастного спутника.

Барышня ему не понравилась.

И снова упало сердце.

— Такова воля Божья.

3

Владыка милостиво принял о. Илариона, а драгоценному подарку просто не знал благодарности. Владыка обещал непременно еще раз побывать в их монастыре и уговаривал старца подольше остаться в Лавре, чтобы, пользуясь пребыванием старца, получить от него некоторые советы, в которых очень нуждался.

Дни проходили незаметно.

О. Иларион, ни разу до сей поры не бывавший в Киеве, занят был посещением киевских святынь и осмотром древностей. Свободные часы проводил он у владыки. Но ни в пещерах, ни у владыки, в примиренности и умилении своем перед виденным благолепием, завершавшимся звоном печерских колоколов и киевскими распевами, мысль о данном обещании дорожному спутнику не покидала его.

Наконец, подошла пятница — день назначенной свадьбы и последний срок пребывания о. Илариона в Киеве.

Он собирался было задержаться и еще некоторое время, но из Москвы получены были письма, в которых его торопили: присутствие старца в монастыре оказывалось необходимым для решения неотложного дела.

Свадьба назначена была после вечерни, а поезд отходил поздно вечером.

Хотя промежуток был довольно большой, но о. Иларион, опасаясь пропустить поезд, задумал заранее взять билет.

После прощального обеда у владыки, когда зазвонили к вечерне, о. Иларион отправился на вокзал и, пробыв там в виду встретившихся препятствий долее, чем следовало бы, заторопился взять извозчика.

Вечерни давно кончились, а где находится церковь, о. Иларион не представлял себе и потому очень обеспокоился.

Когда же, наконец, приехал он к церкви и увидел множество экипажей, стоящих по обе стороны улицы, он еще боьше забеспокоился: ясно было, что свадьба уже началась.

А когда вошел в церковь, тут уж от досады чуть не заплакал:

посреди церкви стоял г р о б.

Ни минуты не медля, о. Иларион поспешил назад и, насилу отыскав своего извозчика, сказал ему с упреком:

— Не туда ты меня привез, уж не брался бы лучше!

— Да вы, батюшка, сказали: в Кирилловскую, я вас и привез в Кирилловскую.

— Наверное, две церкви Кирилловских! — о. Иларион, не дожидаясь ответа, занес было ногу в пролетку, — вези скорее в другую.

— В какую же другую, батюшка, всего только одна и есть на весь Киев, а другой никакой нет.

— Ты ничего не знаешь! — о. Иларион стоял на своем.

— Так спросите кого другого, одно и то же скажут, — огрызнулся извозчик, — и не таких возил!

О. Иларион вернулся в церковь и, еще раз убедившись, что в церкви не свадьба, а покойник, направился к церковному ящику: тут, думал он, дадут ему самые точные справки.

— Это Кирилловская церковь? — спросил он старосту.

— Кирилловская.

— А еще есть Кирилловская?

— Одна Кирилловская.

— А где-нибудь на окрайне, или по-другому называется?..

Но староста, занятый счетом денег и, видимо, не

желая продолжать праздный разговор, только покачал головою.

Ничего другого не оставалось, как уйти. Но куда?

Искать несуществующую церковь по меньшей мере странно, да если и допустить, что по какой-либо случайности — мало ли что бывает — такая церковь и оказалась бы, то все равно уж поздно: время пропущено, и никакой свадьбы он не застанет.

Может быть, он перепутал название, или день, или время?

Да нет, память ему не изменяет, он хорошо помнит: Кирилловская, пятница, пять.

И зачем понадобилось ему на вокзал тащиться? Успел бы еще тысячу раз, и билетов сколько угодно. Пошел бы к вечерне, все разузнал бы толком.

— Кирилловская, пятница, пять, — повторял машинально о. Иларион, проталкиваясь к выходу.

Не досада, горечь заливала его сердце: он не сдержал своего слова, не исполнил обещания.

Народу было полная церковь, и почему-то не стояли на месте, а все двигались по разным концам, как у праздника, когда прикладываются.

Теснимый со всех сторон, уже достигнув паперти, о. Иларион как-то помимо своей воли очутился в круговороте и понесен был волною назад, как раз к тому месту, где стоял г р о б.

«И что это за порядок хоронить после вечерни,

нигде такого обычая нет! И что, если тот человек просто подшутил над ним?»

— Кирилловская, пятница, пять.

О. Иларион на минуту приостановился, и вдруг словно холодною водой плеснули ему в лицо.

Вскинув глаза, старец застонал: просто невероятным было то, что он увидел.

Он находился в парадной толпе расфранченных дам и мужчин, никакого гроба не было, а там, где раньше виделся ему гроб, стояли теперь молодые: жених — его спутник, невеста — та барышня, которую в день своего приезда он заметил на вокзале.

Кончалось венчанье.

Присутствие монаха само собою обратило на себя внимание. И не только это, а скорее вид о. Илариона и поведение.

А вел себя о. Иларион странно.

То начинал он молиться и лежал распростертый ниц, то гордо подымал голову, словно вызывая кого-то и крепко что-то оспаривая, то испуганно озирался и вертел головою, желая что-то сбросить с себя, то опять дерзко сжимал кулаки, то униженно сгибался весь, словно просил отдать ему что-то, что насильно взяли у него и не хотят отдать, то застывал на месте и стоял, как столп, с остановившимся взглядом человека, пораженного какою-то отчаянною мыслью, и потом рукою показывал, словно объясняя кому-то,

что был он вот какой, а теперь — нищий, и просил подать Христа ради.

О. Иларион видел одно: брак, на котором он присутствует, заключен противно всякому здравому смыслу, но по указанию Божьему, и по указанию Божьему — а это ведь только что открылось ему — станет не жизнью, а г р о б о м.

И видя только это одно, не мог он понять и все спрашивал:

какой же смысл этого гроба — человеческих страданий?

зачем человек обрекался на страдания?

кому и для чего понадобились эти страдания?

Вот он, старый, проживший много лет в монастыре, спасал себя и спасал других, но он не помнит, забыл, как спасал и как спасался, а забыл потому, что прежде понимал, а теперь не может понять, какой смысл страданий его и тех людей, которые приходили к нему, и зачем, и кому, и для чего страдания всех этих жалких плодящихся, как моль, ничтожных жизней?

Перед ним проходили жизни, Боже мой, какие калечные! — и он не видел им оправдания и просил, не умея ответить, подать ему ответ, ну хотя бы, как милостыню, ради Христа.

— Не сына ли его и не дочь ли его венчают?

— Нет, это его любовница.

— Тоже монах, а пьяный: ишь как назюзюкался!

— Блаженный, поди!

— Представляется: знает, купцы, — купцы любят!

Многое еще говорилось и все, как самое достоверное.

И одни жалели его, другие ругали и насмехались над ним, третьи — этим все равно: некогда было.

Молодые приложились к образам, отошел молебен, и весь народ хлынул к паперти.

И о. Иларион вышел.

Он шел по незнакомым улицам, как-то чудно размахивая руками, будто не монах, а спешащий по шутовскому делу наряженный в монашеское платье простой мирянин, скоморох.

А спешил он не в Лавру, не за тем, чтобы проститься, и не на вокзал, чтобы ехать в Москву в свой монастырь, он никуда не спешил.

Далеко уж от церкви нагнал его извозчик:

— Эй, батюшка, а что же вы деньги-то?

О. Иларион молча отдал весь кошелек, все, что у него было.

«Рехнулся!» — подумал извозчик и, посмотрев вслед удалявшемуся странному седоку, сказал:

— Придурай! — хлестнул лошадь и поскакал к трактиру.

Весь вечер и ночь ходил о. Иларион по улицам, исшагал город вдоль и поперек — из конца в конец, не останавливаясь и не оглядываясь.

А на рассвете дня, выйдя за город на дорогу, нагнал он какого-то, не то странника, не то бродягу.

— Куда идешь? — спросил он странника.

— Куда глаза глядят, — ответил странник.

И о. Иларион пошел за ним.

И степь закрыла их.

ЗАНОФА

1

Хорошо на Батыеве — веселое село.

Всего вдоволь: и лесу кругом, и река под боком. В реке рыба — не выловишь, в лесу зверь — чего хочешь, все есть.

Одно — жутко. Не больно разгуляешься. А разгуляешься, не пеняй зря: если что недоброе после окажется, сам виноват.

Как стоит Батыево и Спасская церковь построена, не переводится нечисть, и нет на нее никакой потравы: живуча, что черви.

Сгинет одна, смотришь, другая уж действует.

Иной раз не успела ведьма передать своего ремесла, все равно, где-нибудь другая проявится, и почище, не ученая, а р о ж е н а я.

Р о ж е н а я — это, которая просто от матери такою ведьмою на свет родится.

Ученая — так себе, а эта свое возьмет: с роженою шутки плохи, пустяками заниматься не станет, живо такое сделает, век свой вечный не отмоешься.

И роженых и ученых на селе водилось не мало.

Старики не запомнят, когда бы их на селе не было,

и не было человека, кто бы додумался, откуда они, и где корень их таковский.

А сколько народа в могилу сошло, погибли задарма несчастные: с этою нечистью лучше не начинай делов, изведут, а сами, как ни в чем не бывало, жить будут и живут человеку на страх, Р о г а т о м у на угождение, его злой воли дочери.

Такое, право, нечистое место.

*

Гóмит гом, шумит молва по Батыеву, гремит слава по всему Черноречью: нет страшнее от гор до моря ведьмы Занофы.

Были старые: Арина да Устинья, каждая сто и побольше годов на плечах носила, а эта молодая — всего тридцать минуло. Те, хоть и портили, да все-таки меру знали, сами же после и помогут, а эта нипочем.

Известны были Занофе самые страшные порчи, умела она з а с е к а т ь.

Возьмет так, окружит кольцом человека, и тот человек, сколько бы он ни бился, никогда и никуда из круга не выйдет, будет плутать у себя под дверью, а в дом не войдет, будет стоять на пороге и не двинется.

Те ведьмы, как ведьмы, с первого взгляда и малому ребенку приметны: нос крючком, сухопарые, хвост. А эта — такой красивой, обойди весь свет, не

найдешь, но и такого уродца с сотворения мира не слыхано: тело и все — настоящее, как у самой здоровой, а ноги ребячьи, — не могла ходить Занофа, только ползала.

И пускай бы себе ползала, а то, говорят, летает: подымется птицею и летит.

И увидеть Занофу никогда не увидишь, разве ночью.

Ну, от этого избави Бог всякого, лучше на месте три раза провалиться, да на Пасху у заутрени не стоять, чем такую увидеть.

Отец Занофы развозил товары по ярмаркам, и товар не залеживался, — покупатель напролом шел: не проведет Чабак, гнилья не подсунет.

И не прими старый греха на душу, ей-Богу, записали бы его в угодники.

Мать Занофы — бродячая, цыганской крови, плясала да пела — вой-да!

Ударит, бывало, в звонкие ладони — пропадай голова, только-б глазком взглянуть, да и Богу душу отдать.

Другой такой Степаниды не бывало.

Не сразу Чабак стал на ноги. Спервоначала едва концы сводил, держал он на селе лавчонку, ею и пробавлялся. Детей полны углы, всех накормить да обшить — чего-нибудь да стоит. Мужиками жили.

Родилась Занофа — и перемена пошла.

Повалило Чабаку счастье, стал богатеть, растор-

говался и настоящим купцом заделался. Покупатель так со всех сторон и валит в лавку, — никаких товаров не напасешься. Разбогател купец. Барышей хватало на все: дом выстроил, сад развел, повыдал дочерей замуж, а сына в город по торговле пристроил.

Пожертвовал Корней колокол на церковь, и удался колокол звонкий и гулкий: как ударят ко всенощной, по всему Черноречью гудит и до самой Москвы, до Ильинки хватает.

И не искал Чабак богатства, само оно в руки шло.

Умные люди и тогда уже смекали, что замешалось тут нечистое, да про себя держали, болтать зря не годится:

и человека ни за что опозоришь, и самому на том свете тоже не пройдет даром.

Один Митрошка, — парень такой был, ничего не боялся, — бывало, как начнет болтать и доказывать, все, бывало, на девчонку кажет на Занофу и ей все приписывает.

Не обращали внимания: разняла человека хмелина, нечего с него и спрашивать.

А девчонка была, действительно, Бог ее знает!

Родилась Занофа в Купальскую ночь, в петухи, последней у матери. Родилась она в счастливой *сорочке* и с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони.

Сорочку Занофину бабка припрятала, а после к себе унесла. Потужили Чабаки, да делать нечего:

назад такую вещь не возьмешь, — кому досталась, тот и пользуйся!

Слух же пошел по селу.

Странники и богомольцы толпились у Чабаков.

Заходили в дом странники получить у Занофы с ее левой руки счастье.

И счастливая рука щедро раздавала счастье, никому не отказывала. Доходили странники и богомольцы до святых мест и возвращались во всем благополучии.

Никто не жаловался.

И из дальних сел и деревень приезжали к Чабакам за счастьем и возвращались во-свояси довольными.

Ни с кем беды не случалось.

Росла девочка разумная и, как птичка, чирикала день-деньской:

все ей покажи да расскажи, и увяжется за большими, ничего не боится.

Однажды, на первую траву, взяла ее Степанида в хоровод постоять.

Любила девочка в веселом хороводе постоять.

А когда пошел хоровод по улице, поднялся вдруг ветер, сшиб ее с ног, и упала она на землю.

С той поры онемели у ней ноги, не могла ходить.

Не бегала Занофа, а лежмя лежала.

И странное дело: все тело ее росло, а ноги в одном и том же положении оставались—ребячьи, маленькие.

Еще больше народа сходилось в дом к Чабакам, и разливалось Занофино счастье по всему свету.

Но, видно, шила в мешке не утаишь.

Одна захожая старица заметила у Занофы на счастливой руке крестики, и какие-то совсем не простые крестики.

А тут, после Занофиной счастливой-то руки, вышел Фома на богомолье целым, а назад пришел без ноги, а у Еремы глаз вышибли, Катерину, старостину внучку, замуж выдали, пожила с год Катерина хорошо, а на другой год запила, тоже Барабан пошел в Петербург и не вернулся, а у того самого Митрошки ни с того, ни с чего выросло в роде хвоста что-то.

А тут еще такое случилось, и дураку толковать не требуется.

Чем старше становилась Занофа, тем тяжелее у Корнея забота росла.

Хотелось старому еще при жизни дочь пристроить и умереть уж спокойно.

Посылал Корней сватов. И женихи приезжали. Много зарилось на богатство: богаче Чабака на всем Батыеве не было. Да ничего из сватовства не выходило. Другой бы и рад радешенек, да в последний срок решимости не хватало. Уж очень жуткий взгляд у невесты: взглянет, как ножом полыснет, — от таких глаз не спрячешься. Ну дело и разойдется.

Не любила Занофа женихов, пеняла отцу, а со

стариком и сам чорт не сговорит, упрямый, стоял на своем.

Приехал как-то к Чабакам купец один из города по делам. Весельчак, все село перемутил. Бабы и теперь всплакнут, как про Родионова рассказывать примутся.

И полюбился Родионов Занофе.

Сама она отцу открылась.

Обрадовался старик, сейчас же к купцу — к Родионову. Любил старик дочь, душу продал бы, вот как любил! А купец шалый, море ему по колено, высыпал шуток с три короба, и по рукам ударили.

Все честь-честью: благословились, смотрины справили и все, что в таких случаях полагается, на то уж баба — первая заводчица. Гуляли, аж обезножили!

И подошел венчальный день, обрядили Занофу к венцу. Поехали в церковь. Народу собралось — все село: всем любопытно.

А жениха нет.

Думали, случилось что. Туда-сюда. Одного послали, другого послали, а жениха все нет.

Нигде Родионова розыскать не могут.

Поохали, поахали, а ничего не поделаешь — по домам надо.

Занофа — ни с места.

Уж и уговаривали ее, и просили, и силою взять хотели, не соглашается, не хочет ехать назад.

И как была в подвенечном платье, легла она на землю и поползла, да так и ползла по земле до самого дома, сама вся, что бумага, белая, а глаза — да если бы все громы разразились и вся молонья попадала, такой грозы не бывало бы! — раскаленные глаза жгли.

Кто, как стоял, так и остался, а она все ползла.

На утро Родионов отыскался. Нашли его у Чабаков в хлеву удавленного.

Опоросилась у Чабаков свинья, и стояли в хлеву старые плетеные ясли для поросят. Так он и забился в поросячью плетенку, а возжи за осокорь натянуты.

Уж мертвый.

Началось следствие. Доказали на Корнея.

Клялся Корней, что не при чем он совсем. Клятве не поверили и засудили.

Пошел старик в Сибирь, да там, должно быть, и помер.

Вот оно какое дело.

Тут уж Митрошка с хвостом забрехал на всю улицу, и умные, которые раньше смекали да помалкивали, развязали язык.

И теперь всем стало ясно, какое это такое счастье Чабаковское, и что это за счастливая рука Занофина с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони, и с крестиками.

И хоть Корней задушил Родионова, про это всякий знал и не сомневался, но без Занофы не обошлось.

Все — Занофа, все она — ведьма.

Всполошилось Батыево.

— Она еще и не то сделает, — говорили про Занофу, — она напустит град и выбьет поля, она нашлет молонью и сожжет хлеб, она уморит скот, она передушит ребят, она испортит баб, она погубит мужиков, она выпьет всю реку и с корнем снесет лес, она не оставит ни церкви, ни избы, не пощадит и завалящей щепки.

— Она еще и не то сделает, — шептали помертвевшими губами, перепуганные на смерть, — она обратит всех в сов и заставит жить в норах.

— Глаз у нее черный.

— Рука у нее проклятая.

— Ведьма она проклятая.

Фома да Ерема подговаривали прикончить ведьму, да не нашлось смельчака, руки у всех оказались коротки.

И все отшатнулись от Занофы, и брат и сестра отреклись от нее.

Что бы ни случилось на Батыеве, всякий грех, всю беду, все валили на Занофу.

И осталась Занофа одна с матерью.

Косясь, проходили по селу мимо белого дома с синею дверью и синими ставнями, не пели песен, не говорили в голос, завидя вышку, где, как сторож на карауле, караулил аист ведьмино логово.

А она, хоронясь, лежала у окна, все видела —

через три поля видела, все слышала — через лес слышала.

И видела Занофа и слышала, знобила сердце, а сама встать не могла.

2

Опустел дом старого Чабака.

Там, где, бывало, от народа стены ломились, не слыхать ни смеха, ни топота, а у запертых ворот по двору не видно ни конской ископоти, ни лошадиного сбега.

Крещеного к Чабакам нипочем не заманишь, разве крайность, а то лучше на пороге подохнуть, чем войти в проклятый дом.

В комнатах травы висят.

И пахнет до одури пряным, на ногах не выстоишь.

А по всем стенам п т и ц ы, — Занофа рисовала, и не птицы, а коты крылатые. От этих птиц-котов и стены и дом точно летели.

Неспокойно в комнатах, жутко.

Управится Степанида по хозяйству, подсядет к Занофе. Смотрит на дочь: жалко, — и не знает, что делать.

А Занофа лежит, глаза раскрытые, и горит в них огонек, — его ничем не зальешь.

Говорила Занофа матери:

— Счастливая ты, счастливо прожила жизнь,

плясала и пела, ты, так плясала, на тебя приходили смотреть. А у меня нет ничего.

Подымалась старуха, мотала седою головой, надувались жилы на бронзовой шее:

— Нет, Занофа, ты сильная, ты красавица, краше нет тебя.

Занофа не слышала, Занофа не слушала, она свое говорила матери:

— Ты счастливая. И есть же такие счастливые! Кто это делает? А я — чем я виновата?

— Ты не виновата, ты ни в чем, Занофа, не виновата... это люди такие...

— Люди? Какие? Счастливые? У меня ни одного дня нет, ни одной минуты, ну, хоть бы одна минута счастливая!

Старуха выпрямилась:

— Уйдем, Занофа, бросим дом, бросим все, уйдем в степи, там в степи на воле...

— Зачем ты лжешь? Какая воля? Где воля? Что она тебе, воля? И куда я пойду? Ведь, я урод, слышишь, я урод, я не могу ходить! А это за что? Кто это делает? Какая правда? И где правда?

Занофа приподнималась на руках и куда-то смотрела, ненавидя мать, проклиная людей, весь мир, проклиная с его волей и правдой.

И ей казались все такими счастливыми, а она одна — проклятая, furthermore, a за что, она не знает вины.

И сердце, ровно вепрь, оскаливший зубы, — страшная месть выходила из сердца.

Старуха опускалась на лавку, глаза от горя сами закрывались. Старуха засыпала бессильная, ничего не могла она сделать.

А Занофа долго на вытянутых руках, взъерошенная, как кошка, прицеливалась глазами и кружила.

Что-то невозможное, нечеловеческое совершалось в душе ее, — невозможное, нечеловеческое творилось в сердце.

Тогда-то и начались на селе пожары, и вдруг умирали люди, и погибал скот, и топтались нивы, падали все беды, все поветрие лихого глаза.

Медленно отлегало от сердца, медленно подгибались стальные ненужные руки.

Забивалась Занофа в угол кровати и, вся подобравшись, хоронилась, как подбитый зверок.

Вспоминала Занофа детство, отца, свою счастливую руку, потом хороводы... хоровод, вихрь, сваливший ее на земь, и землю, на которой она лежала уж безногая, год за годом — все годы на этой кровати, и как однажды сама вздумала ковырять себе счастье на правой ладони, — под венец поехала, и как назад из церкви ползла.

Старуха вдруг просыпалась.

Занофа плакала.

Лицо в кулачок, как у той прежней счастливой

девочки, которая, размахивая счастливою рукой, прыгала на одной ножке от дверей до калитки и пела тоненьким голоском и рассказывала сказки и, вытянув губки, представляла гром и сама же пугалась, и бранила, гнала со двора дождик, и так вот плакала, когда не переставал, шел дождик, и гулять не пускали.

— Тебе есть хочется? — наклонялась старуха к дочери.

— Смерти хочу! — шептала Занофа.

Старуха жевала поблекшими губами, теребила сухими пальцами кончики землистого платка, черная, сама земля.

И птицы-коты на стене летели, пыжили свои кошачьи морды, и вся стена рвалась.

— Смерти хочу!

*

Чуть начинало смеркаться, и теплый вечер укладывал на покой дневной ветер, и нарядная выплывала ночь в звездах, и пробужденные звездами, гукая вдоль по реке, раздавали совы тоску, выползала Занофа в сад.

Там, лицом к лицу с ночью, она копалась в земле с цветами до самой зари.

Но бывали ночи, как дни, и Занофа не могла спуститься с кровати.

С каждым летом сад заростал.

Засорялся цветник и пустели гряды.

Глухой бурьян забирался во все уголки.

Поникали ветви, и тени становились все гуще, покрывая всякий просвет.

В ночи приходили к Занофе сны, и она с криком вырывалась от них и, таясь, целый день жила под их рукою.

И тогда мать и дочь не говорили друг с другом, а только смотрели друг на друга, но бывало и так, что и смотреть страшно было.

Степанида гадала.

И карты не сулили добра: у д а р, н е п р и я т н о с т ь, п о с т е л ь ложились на сердце, а кончалось у г о щ е н и е м — пиковою дамой.

Только редкое утро озаряло дом, будто счастьем.

Просыпаясь, Занофа окликала мать:

— Маменька, что мне снилось сегодня!

Старуха бросалась к дочери:

— Что такое, что тебе снилось?.

— Мне, маменька, сапоги снились, а потом, будто ты мне подаешь рубашку, а рубашка в крови.

— Сапоги, это дорога, — толковала Степанида, — а кровь, кровное свидание будет с родными, а мне лук снился, ем будто лук-сеянку. Старик не вернется ли?

И, забывшись, Степанида мурлыкала песню.

— Маменька, эта дорога, я знаю, маменька: моя смерть.

Старуха молчала.

— А на кладбище тихо, там никто не тронет.

Старуха молчала.

Все у ней валилось из рук — тряслись руки, и не знала старая от своего горя:

не то садись и плачь, не то сидя плачь!

Тянулись дни за днями.

Так много смутных дней прошло в Чабаковском заброшенном доме. И ударился бы головой об стену, лишь бы вырвать из глотки хоть какой-нибудь звук.

Так страшно было молчание в Чабаковском доме.

Стояло ли ведро или ненастье, шел ли дождь или светило солнце, все равно, глаза одного хотели:

закрыться!

Старуха не могла уж больше вынести, пугалась молчания, подымалась тихонько, подходила к дочери, черная, запачканная, сама земля:

— Деточка, деточка моя!

— Ну, что? — вскидивала Занофа страшные глаза на согнувшуюся мать.

— Я так, деточка. Я ничего. Я только сердцем прошу...

3

Хорошая была ночь: на дальнем болоте трубили жабы, и маленькие птички — пастушки чуть

слышно свистели, сливая свой свист с трескотом, и земля колыхалась.

За рекою тоскливо гукали совы, и трещали лягушки, словно бы бричка по дороге катила.

От высоких осокорей через весь Чабаковский двор тянулась глубокая тень в лунном круге.

В белой рубахе, как белый цветок, лежала на траве Занофа. Печально рассыпались по плечам темные расплетенные косы. Оскалив белые зубы, глядела Занофа куда-то — за звезды.

А звезды были такие — далекие.

Одна дума таяла, будто месяц таял на сердце, — дума о смерти.

И показалось Занофе, мелькнуло что-то под хлевом, будто вышел кто-то из хлева со свечкою, вот обогнул осокорь, и упал в траву, и уж полз через полосу тени к саду.

Огонек, колеблясь, мелькал, как свеча, — две свечи.

И чем ближе подползал огонек, тем яснее становилось Занофе, что это человек ползет, и уж лицо прояснялось, она узнала, — это он, жених ее, его глаза.

Его глаза светились.

Занофа приподнялась на руки и, как кошка, выгнув шею, поползла навстречу.

И они ползли друг к другу.

И путь между ними все укорачивался.

Уж развевались его волосы и губы улыбались ей...

Так путь между ними кончился.

Руки его протянулись к Занофе и, охватив ее грудь, прижали крепко, горячие, на всю жизнь, на вечно.

И в миг синий, как там в хлеву с вожжею на шее, скаля зубы, он приподнял ее с земли.

И они полетели — жених и невеста.

*

Утром нашли Занофу в конце сада у сажалки:

сидела она вся белая на перелазе придушена — чорт задушил!

Целый день пьяно Батыево. Стоном стон стоял, песня, и гам, и топот.

Откалывали казачка, ног не жаль.

Эк, ведь, как прорвало, — Фома Ереме последний глаз вышиб, а у Митрошки что-то в роде хвоста оторвали прочь с мясом. Да и как для такого случая — без страха, без ведьмы! — не ударить по всем.

ПОКРОВЕННАЯ

1

Первый удар колокола слушай от Ивана Великого. Трижды гулко ударят в Успенском, за Успенским подымут звон у Симонова, а уж за Симоновым и все сорок сороков, — со всех семи холмов вся Москва гудит.

Сколько веков так под красную Пасху на златоглавой Москве звонят! Звонили так и при царях московских, при государях всея Руси.

Палагея Сергеевна слушает звон, но никаких царей-государей не вспоминает, ничего не вспоминает она, — вся ее память закрыта, все воспоминания погашены.

Слушает и старая кухарка Настасья, истово кладет кресты, шепчет старуха под полунощный, душу потрясающий, воскресный звон, истово кладет кресты, и тоже ни о чем не помнит, вся в тихом, в молитвенном озарении:

«Христос воскрес».

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — говорит она, тихая, вся в тихом, в молитвенном озарении.

А за окном Москва гудит, и не разобрать коло-

колов: который колокол у Семена Столпника, который у Сергия в Рогожской, который у Мартына Исповедника, который у Воскресения в Гончарах, — смешались таганские с рогожскими и гончарные с николоямскими, гудят.

Палагея Сергеевна слушает звон, смотрит упорно, не на пречистый образ так она смотрит, не на Покров темный с ясной лампадкой, а куда-то через паутинные зимние рамы в тьму полунощную пасхальной ночи...

И вдруг слезы градом бегут из упорных, пересиливающих и эти слезы, все еще живых глаз, а губы кривятся, беспомощные.

С тех пор, как Палагея Сергеевна вышла замуж, вот уж четвертый десяток, не ходит Палагея Сергеевна под Пасху в церковь, а сидит дома.

Первые годы в замужестве каждый год рождались у ней дети, и стоять ей в церкви трудно было, — дома сидела. А когда разошлась она с мужем и переехала от мужа с детьми на Хиву в переулок, она опять сидела дома, не ходила в церковь: дети маленькие были, и ей было страшно оставлять детей одних в доме.

А стали дети побольше, — пять сыновей у Палагеи Сергеевны, все погодки, — уж дети-гимназисты уходили в церковь, а она дома сидела, дом стерегла с Настасьей.

И выросли дети, ученье кончили, в люди вышли,

всякий своим домом зажил, своей семьей, и осталась одна без детей Палагея Сергеевна, но и одна, по привычке, что ли, не выходила она под Пасху в церковь, сидела дома.

Палагее Сергеевне за шестьдесят, и уж сорок лет, как в пасхальную ночь она только слушает звон, этот полунощный, душу потрясающий, воскресный звон.

И не тихое озарение от ясной лампадки покрывает лицо ей, та вон ночь с своей полунощною тьмою, да вдруг неудержимо слезы...

И на миг слезы оживляют ее угасшую память.

В слезах, сквозь частые слезы неудержимые, она видит себя, и не седой, с облезлой маковкой, покрытой кружевной черной наколкой, не беззубой сутуловатой старухой, чудной и странной, беспамятной, с у м а с ш е д ш е й, доживающей свои дни на Хиве в переулке с кухаркой Настасьей, а барышней задорной, Поликькой Расторгуевой.

*

«Полинька, Христос воскрес! Полинька, поверни-ка губоньки, носик свой курносенький, глазки свои жучечки, деточка, Христос воскрес!»

Это Анна Ивановна все целует свою любимицу, свою последнюю дочку Полиньку: в первый раз в церковь под Пасху повела она Полиньку, нарядила, словно куколку, кутает в бархатный алый салопчик,

уж к кресту приложились, вышел батюшка паски святить, домой пора.

А у Полиньки один глазок уж давным давно, за евангелием еще, как евангелие стали читать, тут и заснул, а другой, плут, не спит, все таращится: любопытная она такая девочка.

Полинька девочка длинноногая с тонкой шейкой.

Полинька стоит у клироса в теплом приделе, где идет служба. Она ученица лютеранской школы Петра и Павла. Она в четвертом классе, ей четырнадцать лет.

Как Полинька рада пасхальной заутрене, когда все поется, не читается, и царские двери настежь раскрыты, виден жертвенник и престол, как она рада пасхальному пению — все запели, вся церковь поет, и теплым огонькам — красным свечкам, и красным бархатным ризам — золотом расшитому облачению в маленьких жемчужинках, и душистому зеленому можжевельнику, колкому под ее атласными белыми туфельками.

Сердце стучит, уши горят...

Она влюблена, она в первый раз влюблена. И таит в себе эту первую свою любовь. Он ничего не знает, и никогда не узнать ему: сама, ведь, она никому и никогда не скажет, виду ему не подаст.

Через все пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — все в ее сердце, им полно все ее сердце.

Сердце стучит, уши горят...

Скоро узнает она — он сосед их — скоро узнается, что после праздника свадьба его назначена, женится он, и как она тогда горько заплачет, захлебнется она в своих первых слезах. Но она еще ничего не знает, она еще ни о чем не догадывается. Завтра она его увидит, завтра он к ним в дом придет ее отца поздравлять, — отец ее известный в Москве купец, к отцу все ходят с праздником поздравлять,— он непременно придет.

И Полинька рада, она всем, она всему рада: она ждет его.

«Христос воскрес, Полинька!» — нянька говорит, Авдотья.

«Воистину, нянечка, Христос воскрес!»

И улыбается Полинька, целует долготерпеливую няньку Авдотью, подслеповатую бисерницу, сеченую в крепостях, которая любит Полиньку, как покойница Анна Ивановна любила свою длинноногую болотную птичку.

*

Полинька барышня-невеста.

Полинька кончила немецкую школу, ей восемнадцать лет. И не думает она уж ни по-немецки, ни по-французски, как думала раньше, когда учи-

лась в школе, она думает по-русски и книжными словами и словами покойницы няньки, долготерпеливой Авдотьи-бисерницы. Давно забыта ее первая любовь, кудрявый сосед Прохоров, много раз с тех пор влюблялась она, и сколько раз влюбленная думала она, что от тоски с ума сойдет. Все забыто, все улеглось и не вспоминается.

Полинька — невеста, и он тут, жених ее, недалеко от нее у клироса стоит.

Она его любит и знает, что и он ее любит. Каждую субботу он ходит ко всенощной в церковь, куда она ходит, на балах он танцует с нею: зимой танцевали они в Купеческом клубе и в Благородном собрании, летом в Петровском-Разумовском, в Петровском парке, в Богородском, в Сокольниках, в Останкине, в Леонове, в Свирлове — и в Опере кресло у него рядом с ее креслом. И все-то он замечает, и если Полинька расстроена, никто не заметит, а он непременно увидит, по глазам ее, по блеску глаз разгадает, и скажет. Перчатки у ней стащил... ну, потом вернул. Он еще не сделал ей предложения, после Пасхи сделает, на Красную горку. А потом и свадьба. Уж жильцы от Горбовых из дома их съехали: это для молодых, там они поселятся. Отделают комнаты, и тогда свадьба.

И Полинька смотрит уверенно.

Она и не догадывается, и нет у ней в мыслях, что не бывать ее свадьбе, что после Пасхи, на Красную

горку, все сорвется, рухнет все дело: они объяснятся, она первая ему скажет, но старик Горбов запретит сыну жениться, и послушный сын покорится. Как ужаленная, завертится она, задохнется она, от обиды изноет, заболит, и будет долго одна с обидой своей, все одна, на люди не выйдет. А пока она ничего не знает, она — невеста, она так уверенно смотрит.

«Христос воскрес, Палагея Сергеевна!» — это Горбов, жених ее, он подошел к ней, он целует ей руки.

«Воистину воскрес!»

И улыбается Полинька, и целует подругу, свою сверстницу, тоже невесту, Клавденьку, крепко целует трижды.

Полинька вся в белом, с алым шарфом.

Полинька одна стоит в теплом приделе, где служат. Ей уж двадцать два гóда. Нет ее подруги Клавденьки. Клавденька давно замуж вышла. Похудала Полинька, и скорее похожа на ту длинноногую девочку, на б о л о т н у ю п т и ч к у, влюбленную в кудрявого соседа, не на невесту Горбова, и это ее хорошит.

А как много всего за это время прошло!

Умер отец старик, сам Расторгуев, кучер вывалил Полиньку из саней, и она сильно ушиблась, — один Бог спас, на балах Полинька теперь уж первая, все за ней ухаживают, но ее не так забавляют балы и

ухаживания, не так занимают и толки о женихах. После той горбовской горячки Полинька стала как-то равнодушнее, ну, конечно, не раз влюблялась она и не в одного, а в нескольких сразу, но как-то все выносила легко, не было той первой боли и тоски до отчаяния.

Полинька встретилась с новым человеком, такого она раньше никогда не видала. Познакомилась она с ним в Богородском на даче.

Он совсем не похож на тех людей, какие бывали в их доме у ее отца, он ни на кого не похож: ни на Прохорова, ни на Горбова. Он и одет по-своему: в бархатном пиджаке, в белой фуражке и высоких сапогах, и еще носил он ситцевую лиловую рубашку, и было у него драповое истасканное пальто, — всегда очень растрепан, а как нравился!

Из всех богородских барышен он отличил Полиньку и танцовал с ней, как когда-то танцовал жених ее Горбов. Он приучил ее смотреть на все обыкновенными глазами, — так сам он говорил ей, вместе читали книжки.

Да, она заметно переменилась. Раньше она только и гадала, что о свадьбе, чтобы замуж выйти, к замужеству сводились все ее мысли, к женихам, а после встречи с ним она захотела быть самостоятельною, трудиться, приносить пользу обществу, итти наперекор,

чтобы вышло из нее что-нибудь настоящее, — так сам он говорил ей. Она по его совету перестала носить шиньон, и стала учить грамоте фабричных ребятишек. Открылась ей целая новая жизнь, и время у ней занято.

Но Лебедев женатый, у него есть дети. Жена стала присматривать за Полинькой и мужем, и вышло так, что должен он был уехать куда-то в Казань с женой и детьми. Он был такой печальный, когда прощался с Полинькой, писать обещал, помнить всю жизнь. И ничего не написал. Так и сгинул где-то в Казани, ни строчки не написал.

Досадно было Полиньке.

Впрочем, теперь-то ей совсем безразлично, помнит ли ее Лебедев или забыл, напишет он ей когда, или так и пропадут о нем всякие вести, ей все равно. А на счет Горбова, жениха своего, ей просто смешно, да и представить ей себе трудно, понять она не может, как это тогда могла убиваться так. Да и не думает она ни о ком из прежних своих: ни о Горбове, ни о Лебедеве, ни об одном человеке, о ком хоть одну минуту жарко подумала, ну, после бала.

Зимою вернулся в Москву ее двоюродный брат, с которым была она в дружбе, и не один он вернулся, а с женою-цыганкой: на цыганке женился. Родственники встретили неласково цыганку, и только одна Полинька, наперекор всем, привязалась к своей новой родственнице и постоянно бывала в их доме.

И там, у них в доме, познакомилась она с одним художником.

Зима прошла весело. На Новый год Полинька была на маскараде и опять, на Крещенье, на маскараде. И всякий раз с Кистеневым, — и на маскараде, и на балу, и на всех вечерах она с ним, только с ним. На тройках в Стрельну каталась, и в санях она с ним сидела.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет.

Не любила так никого Полинька, как его любит. Он вернется в Москву скоро уж, вот, после Пасхи, в мае. Она знает, он тоже любит ее, она выйдет замуж.

Через все пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — все в ее сердце, им полно все ее сердце.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Да, она выйдет замуж, не за него только, за другого, т а к она выйдет, без любви, очертя голову.

Но она об этом и подумать теперь не может, мысли у ней не может быть, что именно вот так оно и будет, а не иначе. Да она бы в минуту поседела, шепни ей о судьбе ее. Он вернется из Петербурга, после Пасхи, в мае, свидания их будут все чаще, и

без слов все между ними станет ясно, по горлышко дойдет им любовь их, вплотную близость их. Она его будет звать Сашей, он ее — Полинькой. Так и простятся. Осенью он уедет в Петербург, он еще учится, и еще не один год учиться ему. Потянется осень. Будут родственники и старшие докучать сватовством: ведь все ее подруги замуж вышли, и ей пора, ей уж двадцать два года. Ей двадцать два года, а ему надо учиться, и не один еще год учиться. А с годами мало ли что, мало ли перемена какая будет? А тут есть человек не молодой уж, но богатый, вдовец и с детьми. И она поддастся. Не на богатство позарится она, что ей? — приданое отец завещал большое, нет, все ее мысли петлей закрутятся, станет ей как-то все равно, и она выйдет замуж по сватовству, без любви, т а к она выйдет, очертя голову.

А как придет в себя, да как увидит, что сделала, и упадут руки. И вернуть не вернешь. И лучше бы не встать ей тогда, не подняться с земли, когда кучер из саней ее вывалил. Но она еще ничего не знает. Как она далека от своей судьбы!

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Это ее последняя Пасха, в последний раз стоит она в церкви, слушает пасхальное пение, а слышит его. Она одна стоит в последнюю свою Пасху вся в белом с его алым шарфом.

Полинька подходит к кресту.

«Христос Воскрес!» — дает ей батюшка крест.

«Воистину!»

Шепчет Полинька, зарделась вся, как ее алый шарф, целует тяжелый кованый крест, и крест обжигает ее горячие губы ледяным холодом.

*

Так ясно, так живо видит себя Палагея Сергеевна в церкви в свою последнюю Пасху: она вся в белом с алым шарфом, — и слезы душат ее.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — шепчет Настасья, и у старухи на запалых глазах навертываются тощие, мутные слезинки.

А за окном звонит Москва.

Всех звончее подал весть есак, и поднялся трезвон во все тяжкие и велие, все колокола звонят, и новые и старые: немчин, годунов, широкий, глухой, карнаухий, переспор, сокол, медведь — московский звон.

И глухо сквозь частый трезвон доносит на Хиву в переулок кремлевские пушки — сто и один выстрел: крестный ход обошел вокруг церкви, — настежь церковные двери, крестный ход входит в церковь, — и сущим во гробех живот дарова в! — и началась заутреня.

Палагея Сергеевна быстро, быстро идет из кухни в свою комнату, словно бы окликнули ее, словно бы

случилось что в ее комнате: лампа ли со стола упала, или стряслась какая беда.

И нет ничего, ничего не случилось, так всегда она ходит, не ходит, а бегает.

Палагея Сергеевна отпирает комоды, — там все вверх дном у нея, и среди всяких тряпок, писем, просроченных ломбардных квитанций, фотографических карточек, пузырьков, пустых футляров и всяких коробок ищет она что-то: не купленный ли подарок Настасье — прежнее-то время праздничный подарок всегда в комоде хранила, или еще что задумала...

Какие у ней пошли мысли?

Куда толкнули ее воспоминания?

2

Одна Настасья в кухне перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой.

Не слышит Настасья московского звона, не слышит, как из пушек палят, не считает пушки, — тощие мутные слезинки поблескивают на ее запалых глазах.

— Матушка, Покрова́, Заступница усердная! — перебирает губами старуха: ей тоже в тайности сердца свое припомнилось, мытарство свое.

Настасья одних лет с Палагеей Сергеевной, а в церковь под Пасху она не ходит уж больше полвека.

Не годы ей вспоминаются, всего несколько дней.

Шестнадцати годов просватали Настасью из дальней деревни. Попался ей муж богатый и по сердцу пришелся: не силою, не неволею, охотой пошла за него. Весело справили свадьбу, и увез ее муж в свою деревню. И стала Настасья жить-поживать, не печалится в новом доме. День прожила хорошо, и другой прожила хорошо, и третий день кончился по хорошему, грех и пожаловаться. Тихо, советно, ладно ей с мужем жить. А на четвертый день нежданно-негаданно объявилась в дом прежняя жена его, невенчанная, с которой до тех пор жил он, и детей с собой привела, — баба еще молодая, здоровая, да его-то не тронула, а на ней, на своей разлучнице, изнесла все свое сердце, выместила обиду, избила Настасью, и все, какие платья были, какие рубашки, приданое — все порвала, на куски порезала. В чем была, в том и выскочила Настасья, вся избитая. Куда итти? Да куда ей итти — к отцу. И пошла к отцу, без дороги шла она, как зверь, и лесом и полем, и лесом и оврагами, как зверь. Пришла к отцу. Ей бы с первого слова и открыться во всем старику, заступился бы старик за дочь, нашел бы управу — если Бога человек не боится, людей забоится! — нашел бы управу, а она... да она еще тогда, без дороги зверем через леса-то рысчущи, уж тогда всю судьбу свою передумала, и ни словечком не пожаловалась, никого не обмолвила, все на себя сказала, себя

одну обвинила, грех его взяла на себя. Отхлестал ее старик возжей, да вон из дому.

«Вон пошла, потаскуха!» — зарычал старик.

Она и пошла, волочашкой по людям пошла из деревни в деревню, из села в село. И попала в Москву к Расторгуевым, нанялась в судомойки. А когда Палагея Сергеевна от мужа уехала, попросилась она к ней на Хиву, да с тех пор и живет в кухарках.

Родителя своего, старика вспомнила Настасья, так и помер старик...

— Царствие ему небесное!

Мужа она вспомнила, три денька свои, и муж помер...

— Царствие ему небесное!

Дорогу свою она вспомнила, когда зверем без дороги через лес рыскала...

— Матушка, Покровá, Заступница усердная! — перебирает губами старуха, и уж легко ей на сердце, тихая, вся она в тихом, в молитвенном озарении: «Христос воскрес».

3

Долго рылась Палагея Сергеевна в комодах, по всем уголкам шарила, все вещи перерыла и нашла, наконец, что ей надобно: из-под самого дна вытащила она зеленую в переплете тетрадь — свой дневник.

Руки у нее трясутся, кружевная наколка сбилась

на облезлой маковке. Быстро перелистывает она зеленую тетрадь. Слова горят.

Это ее девичий дневник.

Да, все так, все, как было.

«12 января уехал в Петербург К. Я думала, я с ума сойду».

«30 мая. Скучала я страшно всю весну, 11 мая поехала в Богородское, там ждала К. Он приехал 26-го. Мы ездили с ним в Медведково. Постоянно он гулял со мной, целый день проводили мы вместе, играли в карты, в бильбокэ, сэрсо. Он звал меня Полинькой, я его — Сашей. Весело было».

«31 мая и 1 июня были мы в Кунцове. Весело было».

«2 июня в среду мы с ним вечером... Как приятно вспомнить этот вечер!».

«3 июня ездили к Троице. Назад мы с ним ехали д в о е».

«30 августа К. пробыл у нас два часа. Мы с ним сидели в моей комнате, и простились. Боже мой, я это вспомню когда-нибудь! Что же это было? Милый, дорогой мой! Когда он уехал, я была сама не своя. Неужели мы не свидимся? Я люблю его до безумия».

«23 октября. Мне сватают жениха Т. Он был у нас. Боже, как ночью плакала. Он мне совсем не нравится. Что же это будет? И неужели моя дорожка кончилась? Что же это такое? Я ума не приложу. Молиться не могу. Что мне делать? Никто не знает,

что так безумно люблю его. Мне двадцать два года, а ему еще долго учиться, не пара мы. Несчастный тот день, когда мы с ним встретились. Какая я буду жена, какая мать, когда люблю до смерти другого! И если я должна буду венчаться, честно ли я поступлю? А ведь, все равно, я знаю, мне за него не выйти».

«26 ноября Ф. П. Т. сделал мне предложение. Я согласилась. Что-то от сердца точно оторвалось, похолодело. Мы познакомились 13 октября, а теперь 1 декабря. Я больна, нервы расстроены сильно. Сама не знаю»...

«26 декабря. Утро. Сегодня назначено мое благословение. Теперь все покончено. Больше ждать нечего. Кончилось все. Я отношусь спокойно и равнодушно, а, верно, заплачу после».

*

Да, верно, все так, все, как было.

И уж в глазах ее нет больше слез: строчки, буквы, цифры ей выжгли все ее слезы.

Палагея Сергеевна словно замерла вся, ее зеленая тетрадь выпала из рук.

Она одна в комнате.

И сколько лет, с тех пор, как от мужа с детьми уехала, она живет в этой комнате. Костяник и тряпичник давно зарятся на ее комоды. И пусть бы забрали всю ее рухлядь, да и ее за одно.

Она одна в этой опостылевшей комнате, она во всем мире одна.

Не слышно ей звона, а уж к обедне звонят, она ничего не слышит.

И одна ночь из окон глядит на нее.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Когда она в свою последнюю пасхальную ночь стояла в церкви, и вся душа ее была обращена к нему, и всей душой, всем существом своим она ждала его, для нее все играло, все горело пасхальным огнем алым, как тот шарф ее алый, потому что она любила. А когда, любя его д о - с м е р т и, связала жизнь свою с нелюбимым, пала ей на голову ночь, потому что сама свою любовь предала.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей...

Дети ее, не от любви рожденные, с ужасом, с отвращением, с проклятиями на свет выведенные, как новая еще обуза для ее и без того опутанной жизни, как петля, туже, все крепче затягивающая ей горло, а и без того дышать нечем, дети ее — ей совсем чужие. И та же беспросветность, нет, еще бо́льшая ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Жалко ей было детей, а ведь и котят слепых жалко, всякую беспомощную и беззащитную тварь жалко, но любить она не могла их. И когда захотела

детей полюбить, вот когда от мужа решила уехать с детьми, в детях думала найти себе свет и покой, не нашла она света — как так полюбишь? — а без любви одна ей ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Зачем наперекор своему сердцу поступила тогда, в комок сдавила свое живое сердце, свою любовь предала?

Или от отчаяния?

Веры не стало, потеряла веру?

Поверила Горбову, который сыновней покорностью своей крепко обидел ее, поверила Лебедеву, учителю своему, который клялся ей помнить вечно и, малодушный, даже не написал ни строчки?

И опустело сердце.

Да пусть бы и этот художник также обманул ее, любовь-то зачем предала?

Уж если в самой тайне своей она никому не верила, во всех отчаялась, и только себе верила, так бросила-б дом, Москву, в Петербург переехала бы. Отец дал ей образование, в немецкую школу определил: умный был старик, ценил знание. В Петербурге она не пропала бы. Начала бы там новую жизнь самостоятельную, и вышло бы из нее что-нибудь настоящее. А не захотели бы опекуны

приданое ей выдать, что *наперекор* идет, а им всем хотелось, чтобы замуж она вышла, Бог с ними, Бог с ним, с приданым и со всеми деньгами отцовскими. А то и деньги на руках и все — дом, свои лошади, все, что хочешь, ни в чем нет недостатка, а какая жизнь! Одна ночь.

И эта ночь — кара ей.

Или в самой тайне своей, отчаявшись и в себе, надеялась она, что свыкнется и забудет, притерпится, и тогда сама собой пойдет какая-то новая жизнь?

Кто-нибудь и свыкнется, кто-нибудь и притерпится, да она-то не свыклась, не притерпелась, ничего не забыла, не могла забыть.

И в этой жгучей ее памятливости — кара ей.

Или еще на что надеялась?

Нет, какая еще может быть надежда?

Да если и была хоть какая-нибудь надежда, в первую же ночь, как осталась она одна с мужем с глазу на-глаз, тут и конец.

Любовь свою предала!

И ночь из всех окон глянула на нее.

И эта ночь — кара ей.

Вот она распяла себя, и распятая тянула свои бесцельные отчаянные дни, и еще живет: и пьет и ест, читает по утрам *Московский Листок*, плачет, без мысли, без памяти, с погасшей и вдруг вспыхивающей памятью и ужасом бесцельной своей распятости, судьбы своей, о которой шепни ей тогда

в ее последнюю пасхальную ночь, когда вся в белом с алым шарфом целовала она горячими губами тяжелый кованый крест, показавшийся ей тогда холодным, как лед, и она в минуту поседела бы.

Настасья старуха тоже распятая.

Настасья сама тоже распяла себя: невиновная, она чужую вину взяла на себя, грех на́-душу приняла мужнин из любви к мужу своему, суженому, который обманул ее, из жалости к детям его, из жалости к той покинутой жене его. И для нее все светится, она вся светом покровенная, сама, как живой свет.

А тут одна ночь.

Кто это, что это, что обрекало ее — ведь была она курносенькой Полинькой, и была она длинноногой болотной птичкой Полинькой, и барышней-невестой Полинькой, и ведь это она стояла вся в белом с алым шарфом, вся, как одна любовь, — кто это, что это, что назначило ей такую бесцельную муку, распяло так жестоко?

А, бывало, в годы замужества, когда с мужем жила еще, бывало, ночью увидит она его во сне. Проснется утром... Боже мой, и не просыпаться бы ей вовсе.

«Саша!» — тихо покличет, вся душа заноет.

И потом день-деньской места себе не найдет, да куда-нибудь забьется в угол, уткнется в подушку.

«Саша!.. никогда... я тебя никогда не увижу! А тебя люблю, только тебя!» — вся душа зарыдает.

Зачем это?

И зачем ей такая тяжелая кара — ночь до века, мука до гроба?

Всю в белом с алым шарфом кинуло ее из церкви, с пасхальной обедни, на Хиву, в переулок, доживать свой долгий, невыносимый, беспросветный век.

И зачем она так жестоко распяла себя?

Палагея Сергеевна подняла с пола зеленую тетрадь, положила тетрадь в комод и совсем тихо, необычно тихо пошла из комнаты в кухню к Настасье.

Страшно ли ей стало, что одна она в комнате — в целом мире одна, или от какой-то внезапно блеснувшей мысли страшно ей стало, и страх этот сковал ее шаг?

Или еще что задумала?

*

Тихо, совсем тихо вошла она в кухню.

Перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой, стояла Настасья, вся в тихом, в молитвенном озарении.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна!

Стоит Палагея Сергеевна перед Настасьей, — так еще недавно Настасья стояла перед пречистым образом Покровом заступающим, и слезы бегут из глаз, а кривящиеся мокрые губы тянутся к старухе, и голосом загубленного сердца беззвучно шепчет

она из тьмы своей отчаянной ночи потрясенной души воистину, а из кривящихся беспомощных губ беспомощно просится:

— Веревку, — просит она, и слезы давят ее, — веревку!

*

А за окном по церквам идет перезвон.

«Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово. Се бе искони от Бога. Вся тем быша, и без Него ничто же не бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объят».

Вся Москва перезванивала: вон у Семеона Столпника, вон у Сергия в Рогожской, вон у Мартына Исповедника, вон у Воскресения в Гончарах.

Скоро станет светать.

Приложатся к кресту, освятит батюшка паски, и понесут из церквей куличи, паски да красные яйца по домам, всяк в свой дом, разговляться.

А там заиграет и солнце, воскресное красное солнце над златоглавой Москвой.

ЦАРЕВНА МЫМРА

1

Хорошо было Ате в К л ю ч а х, так хорошо,что едва промелькнут они хоть бы самым своим последним кончиком в его крепкой памяти, как уж все другое — теперешнее: С т а р ы й Н е в с к и й, где он живет с отцом и матерью, и гимназия с уроками, переменами и отметками, и учителя все, начиная с немца Ивана Мартыновича и кончая чистописанием — Иваном Евсеевичем, и все первоклассники, даже приятели — Ромашка и Харпик — так все попрячется и вдруг сгинет совсем, словно никогда и ничего не было, а были всегда и будут одни веселые Ключи.

«Дело не волк, в лес не убежит!» — скажет себе Атя и, отложив куда подальше противный учебник, сядет и сидит себе — думает думу.

А то проснется Атя ночью, и какой-нибудь намек один — донесется ли храп из кухни, или сам так заворочается, будто не кровать под ним и лежит он не в комнате, а на траве — на зеленом лугу, и в ту же минуту ему ясно представится, что он не в Петербурге, а далеко, в родных Ключах, где родился и жил до гимназии у дедушки о. Анисима.

И он лежит так всю ночь и хоть старается думать о ветре, как ветер и колосья шумят, чтобы только заснуть, а сон не идет.

Будь сейчас крылья у Ати или ковер-самолет — пропадай все! — улетел бы в Ключи.

Ключи на горе. Под горою белая церковь. Против церкви дом дедушки, сад и пчельник. Перемахни через плетень — река. Река Коса. А за рекою поле, и за церковью поле. И опять гора и на много немерных верст лес. Лес — медобор частый, крепкий нерубанный: зверю — туда-сюда, человеку — знай, посматривай. Муравьиные кочки — стога. Как пойдут осенью по грузди да рыжики, кочки жгут: волк муравьиного духу не любит, помогает от волка.

На белой колокольне — стрижи: их видимо невидимо. Закатится солнце, начнут они перелетать и, летая, все говорят по-своему, по-стрижиному.

Стрижи старые: каждую весну прилетают в Ключи на колокольню. Что их сюда манит: звон ли вызвонившихся зазвонных колоколов? или привыкли они к седому дедушке? Они много знают, они должны помнить: как дедушка молодым был, как жена дедушки померла, как родилась Атина мать...

— Атя приехал, — говорят стрижи, перелетая,— какой за зиму Атя большущий стал!

Козы и овцы, коровы и телята, свиньи и кони,

гуси, индюшки, все догадаются, как покажется на селе Атя:

скот и птица понятливы — пером да шерстью чуют.

От Медведок до Ключей, если скорой ездой, то и в день доедешь.

Сядет Атя в плетушку, а Федор-Костыль как свиснет, и понесутся крепкие карие кони, и без дороги мчатся с горы на гору, из леса в лес, из деревни в деревню — поспевай отворять ворота!

С копыт пыль стоит, завивается дымом, а по полям не унылые версты — вотя́чки в белых, затканных шелками, нарядах, сверкая серебром уборов, протянутся белые им навстречу.

И вотские песни дикие, что лесной гул, и глубокие, что вой половодья, а звонкие — не так звонка болотная тростинка, а светлые — не так светла говорливая желейка, в лад ручьями поплывут за ними.

И ветры, меняя кручину на веселье, с гор надзынут тоску.

Эй, звени, колокольчик! — раззвонился, гулкий, утомлен, как кони, гудит.

Проехали мельницу — прогремела плотина, миновали заповедные луды — вещие рощи Кереметя.

Да жив ли гордый бог — непокорный брат Инмара, творца неба, земли и солнца?

«Жив», — шепчет вещая роща.

А вон и шаймы — старое вотское кладбище.

Издалека заслышат в Ключах гул колокольчика: выбежат Паня и Саша — побросают на кухне стряпню, выйдет крестная, охромеет от радости, и завизжит тямкая Гривна, а дедушки нет: ушел дедушка в церковь.

Атя — к курам. У кур — заяц: так называется заяц, сам по себе он просто кролик.

Вон, посмотрите: от всех убежит, никого не подпустит, а тут ничего.

— Здравствуй, заяц! Дай, зайчик, лапку!

Узнал Атю усатый: мяучит и подает ему лапку.

А вот и сам дедушка: не утерпел — бросил книги и все, идет из церкви.

Рано утром, лишь заря упадет и тепло-красная рассыплется по горам и лесу, встанет солнце — подымется и Атя и бежит на Косу купаться, а потом — пора рабочая! — целый день за работой: навоз возит.

Придет вечер, станет закатываться солнце, золотым венцом украсит курчавую липу, наденет на иву золотое колечко, тут только Атя домой, и уж испачканный, весь в земле: на что только похож!

А дедушка скажет:

— Экий ты у меня хозяин!

— Я, дедушка, девять возов свез! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, показывает свои крепкие широкие белые зубы, и хочется, чтобы Атя все время смеялся.

Старый да малый — дедушка и Атя — один без другого за стол не сядет.

За вечерним чаем Атя читает, что на день в отрывном календаре написано: какие приметы, и о погоде, а другой раз так из книги читает, больше арабские сказки — Т ы с я ч а и о д н а н о ч ь.

Дедушка любит арабские сказки слушать.

— На тебе пятак за работу, да смотри, не прохарчи.

— А я, дедушка, все мои прошлогодние в Петербурге прохарчил: видел гиппопотама! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, глаза его, как светляки, загорятся, и станет всем весело.

И день за день, как река, течет.

Проводили д е в я т у ю п я т н и ц у. Народу — вот какая коса!

В крестном ходу Атя носил крест вокруг села.

За иконами народ шел, за народом скотина — козы, овцы, бараны, коровы, кони, — и им полагается!

Заяц тоже ходил.

Ну, не так, как конь или корова, заяц всю дорогу промяукал на руках у крестной, а то живо в лес утечет!

Поджидают из Петербурга дядю Аркадия.

Только и разговору в Ключах, что о дяде Аркадии.

Крестная во сне его видела, будто выходит дядя Аркадий из чулана во всем в белом и прямо одним шагом на подволоку.

И, веруя в сон, уж наготовила крестная к чаю пряжеников.

А пряженики масляные, вкусные, так во рту сами и тают, — Атя за дядю Аркадия все поел!

Не за горами Петровки: подавай пескаря! Поскорее бы рыбачить!

Атя не трусливого десятка: на любом коне уедет, в любую погоду по реке вплавь пустится, а вот покойников Атя страсть боится.

Когда стоят они неотпетые под колокольней, он боится вечерами смотреть в окно на церковь, и спать один не ляжет: все ему мерещится, все ему страшно.

И идет с ним на подволоку Паня или крестная, или безрукий старый вотяк Кузьмич, и под рассказы и сказки он засыпает тихо.

Но когда приносят покойников в церковь или несут гроб на кладбище, всякий раз Атя бежит посмотреть и слушает заупокойный звон.

Сторож Костя могилы копает, Костя и звонит.

Ударит Костя десять ударов — десять звонов медленных с оттяжкой: начинает он с тонких, потом потолще — заунывно, жалобно, жутко по-печальному,

а в последний как срыву трахнет во все, аж оборвется что-то, и ты с колоколами бух! — и летишь:

С в я т ы й Б о ж е,
С в я т ы й К р е п к и й,
С в я т ы й Б е с с м е р т н ы й,
п о м и л у й н а с!

Без Ати не обходится ни одной службы.

Атя стоит на клиросе и поет, только ничего не выходит: он никак не может с дьячками поладить — дьячки на подбор один к другому стар старее, и лишь одно выходит — П о д а й Г о с п о д и!

— Молодой мой псаломщик, — похвалит дедушка, — завтра нам в Полом ехать на молебен.

И Атя с дедушкой ездят по деревням и селам, служат молебны, едят быка и кашу.

И Ате уж кажется, что он настоящий молодой псаломщик, а когда большой вырастет, будет священник, как дедушка, и тогда дядя Аркадий не острижет ему волосы: они у него длинные будут, по пояс, и не в две косички заплетет их, как дедушка, а в двадцать две.

Дядя Аркадий! Ну, наконец-то!

Дядя Аркадий приехал, понавез с собою сетей и удочек, а крючков — едва поместились в самой большой корзине.

Атя рыбачит.

Рыба Атю любит: раз такого изловил он леща,

сковороды не нашлось, чтобы изжарить, хоть пускай опять в воду.

Атя смеется —

Вечером весело: вечером кружатся галки.

Как повадятся галки с поля в сад летать, облюбуют себе ночлег, ночь отночуют, а на утро смотришь — уж лучше не ходи после них в беседку! А в комнате душно. Не в комнатах же из-за галок чай пить?! А чаю попить надо толком: чай в Ключах уважают, — и так, и с п о д о г р е в ц е м; на вольном воздухе любо.

И вот дядя Аркадий пугает галок: как затрясет он деревья и так гаркнет во всю — что галки! — забор затрещит, стекла в церкви задребезжат и сами покойники под колокольней с удовольствием скрылись бы куда, ну, хоть в ту же старую баню.

Атя никак не научится пугать галок и гаркать во всю, как гаркает дядя Аркадий.

— Дедушка, пчелы поют! — принесет Атя дедушке новость.

Тут уж все бросай: ни пить, ни есть некогда. Весь дом на ногах.

Дедушка, дядя Аркадий, крестная, Паня, Саша, Кузьмич, и, конечно, Атя, надев на лицо решето, целый день на корточках около улья следят, куда полетит матка.

А когда матка выйдет, все они, как один, пчелами снимутся с места да за роем бегом со всех ног, как

попало, по грядам, по кустам да через плетень в поле пока где-нибудь за полем в лесу матку не словят.

Слава Богу, еще будет улей, а меду — до весны на всю зиму.

Дошла озимь в наливах, подрос овес. На дворе — Казанская.

В Ключах на Казанскую ярмарка.

Приедет на село прозорливец, братец Сысоюшка. Понаедут гости. Крестная испечет кулебяку: все отдашь за кулебяку, да мало. Эй весело!

«И зачем это Казанская не целый век живет!» — думает Атя.

На селе на улице хороводы.

Станут вкруг девки и, пристукивая, идут одна за другой вереницей под однозвучный трум и грёк переманчиватой балалайки.

Так ходят долго, вдруг взмахнув руками и, взвившись, будто птицы, переменятся местом.

И снова, пристукивая, ходят перебором одна за другой вереницей без передышки долго, — серебро их уборов шумит без ветра, и перстни горят без огня.

Дядя Аркадий берет Атю смотреть хороводы.

Дядя Аркадий и Атя стоят в стороне с парнями. Стоят они молча, не переступят.

И Ате становится жутко: то ему хочется броситься в круг и, когда в кругу завертятся, вертеться и взвиться птицей, когда в кругу взовьются; то вспоминаются десять похоронных ударов и сжимается

сердце, — не они ли в венчиках неотпетые вышли из-под колокольни и ведут этот жуткий и переманчиватый танец?

Темные мглы покрывают их, а в ночи по небу выходят бледные звезды.

— Покойники душу новорожденному дают, — говорит Кузьмич Ате уж ночью на подволоке.

«Посмотреть бы, как это делается!» думает Атя.

Кузьмич — приятель Ати.

Кузьмич отрубил топором себе руку, а без руки какая работа? — ничего Кузьмич не может и сколько уж лет живет у дедушки в роде сторожа при церкви.

От Кузьмича Атя узнал много разных чудесных историй, а чудищ сам отыскал, столкнувшись в лесу нос к носу.

Как-то, зайдя в чащу, Атя повстречал Лесуна.

Лесун любит пугать, кто в лесу ходит. Но так как был полдень, — а кому полднем ходить! — то Лесун и шатался без дела: тощий-претощий, от горшка два вершка, — одна рука, одна нога, один глаз, а рот и нос, как у Ати.

А вот было страшно: под старой елкой во мхумокряке, скорчась, посапывал Кузь-Пине, самый страшный, с длинными зубами, а около, у ног его валялись человечьи обглоданные белые косточки.

Атя одним глазком взглянул на чудище да уж едва на дорогу выбрался: шути шутки, живо съест, не попросишь!

А то раз собирал Атя землянику, а из оврага — Искал-Пыдо.

Этот ничего: с лица вылитый Кузьмич, на плече дубина, одно — ноги коровьи мохнатые с копытом.

Атя его земляникой угостил.

Ничего себе, ест.

Вот Лешего да Водяного так и не пришлось видеть, но за то Атя знал, где на Косе гнездо Водяного, и когда осенью разрывало плотины и подымалась вода, он знал, что это значит.

«Хоть бы разок попасть к Водяному на свадьбу!— ночами мечтал Атя, — красавица Водяная царевна, а Морская еще краше... как Клавдия Гурьяновна»...

2

Атя бережет свои думы. Атя никому о них не рассказывает: Ключи — его тайна.

Даже Ромашка и Харпик посвящены только отчасти, но кому бы Атя открыл свою тайну, так это единственной Клавдии Гурьяновне!

А за что, и сам он не знает, — вот она какая, Клавдия Гурьяновна.

Атя чувствует, что тянет его в ее комнату, что приятно ему, когда она пьет с ними чай, когда угощает его конфетами и апельсинами, и когда заставляет смеяться, и когда берет с собою гулять по Невскому,

и когда заходит с ним в магазины и в «электрические театры» — Кинематограф.

Атя знает, вся она—особенная, такой нигде не найти: белое лицо, обсыпанное белою пудрой, спущенные на лоб завитки, красные, накрашенные краскою губы, щелочки-глаза, и все такое маленькое, будто и нет ничего — и нет лица, и вся она такая маленькая, а платье шуршащее с вырезом, и голос у нее особенный, так никто не говорит, и всегда бы слушал ее и всегда бы смотрел на нее.

Атя без всякого дела входит в комнату Клавдии Гурьяновны и стоит молча, уставясь на нее, а когда она что спрашивает, отвечает робко и так коротко, ничего из его ответов понять невозможно.

— Эх, ты глупый, глупый ты мальчик, а ну-ка засмейся! — говорила Клавдия Гурьяновна.

И сама первая смеялась, — как-то горлом смеялась.

Казалось Ате: это не смех у ней, так простые не смеются.

Раз, не вытерпев, Атя сказал:

— Хорошо у нас в Ключах, вот бы вам, Клавдия Гурьяновна!

— Так ты знаешь, где они! — подхватила, обрадовавшись, Клавдия Гурьяновна: она в тот день потеряла ключи от шкапа и, как ни шарила, нигде не находила.

«Еще рано, — подумал Атя, — не пришло время,

надо наперед чем-нибудь отличиться, и тогда можно все»...

В этот вечер мать заметила Ате:

— Не шляйся, Атя, так часто в комнату Клавдии Гурьяновны, она может обидеться и съехать.

Так как квартира была большая, а дела у доктора — отца Ати пошли хуже прошлогоднего, то одну комнату пришлось сдать.

Эту комнату занимала Клавдия Гурьяновна.

Появление Клавдии Гурьяновны внесло новую жизнь. Она была предметом постоянных разговоров. Ею занимались. Ею дорожили. Для нее мать Ати надевала корсет, а не ходила, как раньше, целыми днями в капоте. Доктор не рассказывал за обедом о операциях. Дядя Аркадий доставал ей билеты в театр и на концерты.

А все, что говорилось о ней, Атя внимательно слушал и не пропускал мимо ушей ни одного замечания.

По утрам Атю заставляли мыться: в кухне ставилась лохань, в лохани он и плескался.

— Ты не маленький голышом ходить, пройдет Клавдия Гурьяновна, нехорошо, — заметила мать.

Это случилось чуть ли не в день водворения в дом таинственной жилицы.

Но Атя не сразу понял всю суть сделанного ему тогда замечания: оно лишь впоследствии стало ясным и подтвердило его собственные наблюдения.

«Если при кухарке Феклуше, — рассуждал Атя, — при маме, а в Ключах при крестной и при Пане и Саше, он всегда мылся и ходил без рубашки, то это понятно и можно, так как все они такие, каких много, но при Клавдии Гурьяновне это немыслимо и нельзя, потому что она — единственная».

Вскоре он узнал от Феклуши, что Клавдия Гурьяновна — с о д е р ж а н к а.

Слово, услышанное им впервые, получило тотчас свой особенный смысл: оно означало у него не более и не менее как то, что тáк, содержанками, называют самых умных и самых богатых.

«Содержанка — содержание, — докапывался Атя, — нет в изложении содержания — двойка, есть содержание — пятерка. Директор получает большое содержание: содержание — деньги».

И недаром, по его наблюдениям, все в доме обращались к Клавдии Гурьяновне с вопросами, спрашивая ее мнение о каком-нибудь нужном в данную минуту деле, и недаром цепочка у ней такая длинная — по коленям болтается, а шуба белая с черными хвостиками, как на порфире.

Доктор как-то вернулся домой поздно и, сердитый, молчал во время обеда, а когда подали ему воздушный пирог, который, как на грех сел, сказал с сердцем матери:

— Пустила в дом проститутку...

Мудреное слово п р о с т и т у т к а, и уж ничего не скажешь! Атя, сколько ни бился, — даром.

«Конечно, — думал он, — слово латинское и во втором классе проходится, но ждать до будущего года невозможно, лучше спросить теперь же дядю Аркадия: дядя Аркадий по-латински говорит!»

И в первое же воскресенье, когда пришел дядя Аркадий, Атя попросил его разъяснить себе непонятное слово.

— Проститутками называются, — принялся, не улыбнувшись, объяснять дядя Аркадий, — все окончившие институт, а институт — учебное заведение, в которое принимаются только знатного происхождения, так что тебя, например, как сына доктора, ни в коем случае не допустили бы, хоть ты тут разорвись на части.

Атя чуть было и не разорвался на части, только не от отчаяния, что не может быть проституткой, а от радости:

> он был прав — она необыкновенная, она не только с о д е р ж а н к а, то-есть умна и богата, она п р о с т и т у т к а, то-есть знатная.

«Она, — решил он тут же, — она княгиня. А раз она в нынешнем году княгиня, то на будущий год сделается великой княгиней, а там, не пройдет и года, будет царевной».

— Царевна моя! — шептал Атя, проходя мимо запретной комнаты.

У Клавдии Гурьяновны гостей не бывало, кроме одного.

Ее гость являлся то рано по-утру, то поздно вечером.

По вечерам он засиживался за полночь: она играла на пьянино, он пел.

Все его называли Депутат.

— Депутат пришел, — говорила мать, — не шуми так, да одерни курточку.

А доктор, заслышав пение, морщился:

— Депутат поет?

— Депутат, — отзывалась мать.

Кто этот гость, что за Депутат, разъяснилось скоро.

Мать сообщила дяде Аркадию новость: доктор решил больше не выписывать газет, так как к жилице ходит член Государственной Думы, и жилица все знает лучше всякой газеты.

«Необыкновенный гость, — раздумывал Атя, — из Государственной Думы! Конечно, он куда выше Ивана Мартыновича и Ивана Евсеевича, пожалуй, как грек Копосов — классный наставник в третьем классе».

Как-то столкнувшись с гостем, Атя, шаркнув, поклонился ему, как инспектору, и тут же заметил,

что гость лысый, как батюшка Китаец, а одет — куда дядя Аркадий — дядя Аркадий в подметки ему не годится, даром, что актер.

По вечерам Клавдия Гурьяновна обыкновенно сидела с матерью в столовой, и они разговаривали о разных разностях.

Атя, делая вид, что учит уроки, прислушивался из соседней комнаты.

Разговор вертелся около гостя — Депутата, члена Государственной Думы.

Мало-по-малу из разговоров выяснилось для Ати, что у Депутата семья — две взрослые дочери на выданьи, и что он так любит свою жену, дыхнуть без нее не может, и только необходимость заставила его жить отдельно в Петербурге:

они уж друг другу не письма пишут, а каждый день обмениваются телеграммами.

— Когда мы с ним встретились, — рассказывала Клавдия Гурьяновна, — он сказал мне: «Клавдия Гурьяновна, дорогая моя, я без вас жить не могу, живите в Петербурге, пока я член».

— Царевна моя, — шептал Атя, забрасывая тетрадку с разбором, — а я с тобою вечно!

Клавдия Гурьяновна петь мастерица.

Оставаясь одна в своей комнате, она пела бродячую песню, — такие песни поют под гармонью на третьем дворе.

В песне говорилось все о любви.

О, когда-б эта ночь
Не была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала-б душа.

И в напеве песни Ате слышалось что-то близкое, словно про него была сложена песня и о нем она пелась.

Его царевна одна стояла перед ним везде и всегда.

Ате казалось, весь мир был для нее — для его царевны.

И все ее знали, только нельзя было говорить о ней громко, нельзя было произносить ее имени.

Все ее ожидали и таили свое ожидание в себе, как заветное.

Вот почему в Ключах, заслышав колокольчик, спешили за ворота и с замершим сердцем смотрели на дорогу: не она ли?

А дедушка, стоя в алтаре за обедней, когда подымал руки и молился про себя над чашей с дарами, он ей молился.

А крестная, если с-веселка глядела и все ей удавалось, она ее во сне видела.

А Саша и Паня, если весь день смеялись и сами не знали, отчего смеются, это, значит, им намекнул кто-нибудь, что она в Ключи едет.

А когда Кузьмич не оканчивал сказки, говоря, что конца он не скажет, и по губам Кузьмича бро-

дила улыбка, — понятно: в конце сказки о ней говорилось, а как сказать тайное, необъявное, безвыносное слово?

А сам Атя всегда держал ее в мыслях, потому и смеялся, потому и глаза горели...

— Атька влюбился в Клавдию Гурьяновну, поздравь! — трунила мать.

— Стало быть, засядет на второй год! — невозмутимо говорил дядя Аркадий.

— Терпи голова, с кости скована, — соболезновала Феклуша.

— Меня все дети любят, — смеялась горлом Клавдия Гурьяновна.

«Надо чем-нибудь отличиться, без этого нельзя,— думал Атя, — завоевать Индию или Америку, подать ей знак, тогда она узнает и объявится»...

— Царевна моя!

3

Надежда на летнюю поездку в Ключи ухнула.

Отец сказал, что если Атя останется на второй год, то и думать нечего — все лето будет жить в Петербурге.

А уж шла весна, последней четверти подходил конец, и судьба Ати должна была скоро решиться, и ясно было, что она решится не в его пользу.

На чистописании Харпик, играя с Атей в перыш-

ки и проигрывая — перо, подпрыгивая ложилось не брюшком, как следовало бы, а спинкой, — бросив игру, сказал:

— Хочешь в Америку бежать?

— Хочу, — ответил Атя.

— Ромашка тоже хочет.

— А как же мы побежим?

— А уж это я знаю, мы с Рождества голову ломаем, только тебе не говорили, хотели, чтобы уж сразу начисто... У тебя Америка есть?

— У папы в приемной Африка висит.

— Африка ни к чему. Надо спросить Ромашку, его отец архитектор, должна быть. Наметим необитаемый остров, там и поселимся.

— Построим дворец! — схватился Атя.

— Можно и дворец, можно и замок, что хочешь.

— И никого не будет, ни одной души?

— Одни гиппопотамы.

«Начинается, — думал Атя, — теперь только действуй, все будет, что хочешь: Харпик и Ромашка — бестии, на край света дорогу найдут».

На другой день Ромашка притащил Южную Америку.

Карта оказалась немая и неполная, одна четвертушка карты, но все-таки Америка.

Час, который просидели они после уроков, оставленные Иваном Мартыновичем за целый ряд проделок, прошел незаметно.

Харпик и Ромашка распоряжались, посвящая Атю во все подробности своего бегства, потом, взяв по листу бумаги, занялись рисованием необитаемых островов.

И выбрав один кружочек — их остров, сложили карту и ударили по рукам:

завтра после уроков тронутся в путь.

— Вы ступайте прямо на вокзал и там ждите, а я принесу денег, — сказал Харпик.

— Достать бы паспорт, — задумался Ромашка.

— Паспорт я достану, это очень просто, — объявил Атя.

Он вспомнил, как совсем недавно дядя Аркадий ездил в Москву, взяв с собою по ошибке кухаркин паспорт, и прожил по кухаркину паспорту целую неделю беспрепятственно.

Так и порешили:

Харпик деньги,
Атя паспорт,
а Ромашка карту.

Только бы дожить до завтра!

Атя не завел глаз. Шла ему ночь за белый день. Провалялся ночь, думая. Не о Ключах думал он, о Америке.

На необитаемом острове он построит дворец, какого никогда еще никто не строил, дворец будет весь из павлиньих перьев с золотыми и с серебряными лестницами, и с окнами из драгоценных камней. Он

привезет туда на гиппопотамах свою царевну, и будут они жить, окруженные морем, под вечным солнцем, вечно. Она будет называться царевна Мымра, и остров, который он отдаст ей, будет носить ее имя — остров Мымры. Потом он завоюет для нее еще много островов и, в конце-концов, все земли — весь мир. И тогда выйдет она из дворца и осветит весь свет...

На уроках Атя, Харпик и Ромашка вели себя сносно, ничего такого не выкозюливали, скорее были рассеяны и, когда их спрашивали, отвечали совсем невпопад. По колу стояло у каждого в бальнике. Да уж все равно!

Как только кончился последний урок, и Атя звонко прочитал Благодарим Тебя, Создателю, Харпик, не задерживаясь, кинув книги под парту, побежал опрометью домой.

Дома у Харпика никого не было: отец — в суде, мать — в Гостином, только одна кухарка Василиса.

— Дай мне, Василиса, три рубля, — попросил Харпик.

Но у Василисы таких денег не оказалось, и, повертевшись в кухне, Харпик сунулся к отцу в кабинет, и долго не пришлось рыться: под старым портфелем лежала мелочь.

Харпик пересчитал: ровно три рубля. Вот как везет!

— Прощай, Василиса, мы с тобой больше ни-

когда не увидимся, — приостановился Харпик на пороге.

— А вы куда едете? — полюбопытствовала Василиса.

И вдруг Харпику стало так жалко Василису, уж готов был выболтать тайну, да к счастью спохватился.

— На Николаевский вокзал едем, прощай, Василиса!

Атя и Ромашка давно уже толкались на Финляндском вокзале и много ушло поездов, прежде чем явился, наконец, Харпик.

Не считая ворон, взяли билет до Териок, засели в вагон и — прощай гимназия, прощай Россия! — пустились в Америку прямо на необитаемый остров Мымры.

Ехать было весело. Пели В с т а в а й — п о д ы м а й с я, курили.

Дорога представлялась Америкой, а пассажиры — сыщиками-шерлоками.

Возле Куоккалы Атя вытащил из штанов паспорт кухарки Феклуши и с гордостью показал его товарищам.

— Теперь хоть к самому чорту — ничего: паспорт настоящий, — одобрил Харпик.

— Любому сыщику нос наставим, — подтвердил Ромашка.

Так и доехали до самых Териок.

Выйдя из вагона, отправились гимназисты на

дачи и бродили до позднего вечера, делая все, что душе угодно: лазали по крышам, лестницам и деревьям.

Ромашка предлагал выкупаться в море, и одно помешало: лень было раздеваться.

Становилось холодно, захотелось есть: все-таки, не обедавши трудно.

И, вернувшись на вокзал, они в первую голову купили себе ситного и тут же весь его кончили.

Надо уж было подумать о ночлеге. Ночевать на шпалах холодно, да и снег пошел, а на вокзале — вокзал запрут.

Думали, думали, как им быть, и решили попроситься у сторожа переночевать в будке.

Сторож оказался сговорчивым, не артачась, согласился. Но прежде чем впустить их в будку, заставил прибрать вокзал и размести рельсы.

Прибрали вокзал, размели рельсы. И уж так заснули, сроду не спалось так сладко.

Во сне снились одни сласти: целыми коробками шоколад и мармелад, и простые конфеты — ешь, сколько влезет.

Если бы не сторож, ей-Богу, целый день спали бы.

— Эй, мученики-грешники! — подтрунивал сторож по-своему.

Опять вышли они на вокзал, купили на последние ситного, подзакусили и двинулись было по-вчерашнему на дачи, и вдруг в дверях — жандарм.

— Вы куда? — спросил жандарм сердито.

— Мы с дачи Назарова, — ответил за всех Ромашка; Ромашка прошлое лето жил в Териоках.

— С дачи Назарова? — переспросил жандарм и, поговорив о чем-то тихо с подошедшим к нему господином, должно быть, сыщиком, сказал совсем уж сердито по-жандармски, — вы арестованы!

В это время подходил поезд из Выборга.

И путешественники в сопровождении жандарма и сыщика понуро пошли к вагонам — обратно ехать им в Петербург.

«Что он скажет своей царевне, как теперь подойдет к ней, где его Индия, где его Америка, где необитаемый остров, где остров Мымры, примет ли она его, или все пропало?» — мучился Атя, глядя в окно на черную весеннюю дорогу.

А Харпик и Ромашка обдергивались: зададут им баню, прощай, Америка!

4

Дни шли неделями. Неладно шли.

Правда, встреча на вокзале вышла совсем не страшная: мать Ати просто плакала от радости, да и в гимназии все обошлось благополучно, допустили к экзамену.

Но что Ате в гимназии? Он не добыл острова, а с пустыми руками куда сунешься?

Клавдия Гурьяновна все подсмеивалась. Звала Атю отставным американцем.

«Да надо же что-нибудь придумать, — метался Атя, — отрубить что ли себе палец и отдать его ей или выколоть себе глаз, пускай чувствует».

— Все дедушка виноват, — жаловалась мать отцу, — знаю я, что там в Ключах делается, никуда негоден мальчишка стал, уроки на ум нейдут. То влюбился в Клавдию Гурьяновну, теперь бредит какой-то Мымрой.

Доктор — отец держался того правила, что при лечении необходимо прибегать к пиву с касторкой, так как от засорения желудка всякая ерунда бывает. А при воспитании — к внушению, так как одними словами не проймешь, а потому решил обязательно при первой возможности выпороть Атю.

Но так случалось, что поймать Атю он никак не ухитрялся: то дела задержат, то Атя в гимназии, то и не в гимназии Атя, а скроется куда-то, словно сквозь землю провалится.

Однажды утром отец заглянул в детскую: Атя в одной рубашке сидел на кровати и о чем-то думал, конечно, он думал о своей Мымре!

Доктор, затаив дыхание, крался совсем незаметно, и казалось, еще один шаг и уж взял бы свое — отхлестал бы Атю как следует, чтобы помнил.

Ремешок от радости ерзал в руках доктора, но

Атя не дурак, живым в руки не дастся, — скок! — только пятки сверкнули — спасайся, кто может! — И, не долго думая, опрометью, как угорелый, прямо в комнату к Клавдии Гурьяновне.

Дверь оказалась не запертой. Клавдия Гурьяновна лежала в постели.

Атя — к ней, забился под одеяло.

И слышно ему было, как отец подошел к двери, постоял немного и отошел с носом.

— Царевна моя, ты спасла мою жизнь от смертной казни, — шептал Атя, и от счастья голова у него шла кругом, — ты простишь меня, прости меня, я самовольно пришел к тебе без острова, без ничего, ты простишь меня, я не сумел достать тебе царства, я его достану тебе: Индию, Америку, все острова, все земли... все, все... весь мир!

Дух захватило, казалось, душа его обняла ее душу и обнимала так крепко, что его сердце рвануло и тело вдруг задрожало:

ведь она была так близко, недоступная и гордая его царевна Мымра.

Клавдия Гурьяновна закрылась рукой от смеха.

— Можно? — перебил депутатский голос за дверью.

— Сейчас! — и отпихнув Атю, Клавдия Гурьяновна показала под кровать.

Атя покорно повиновался и, очутившись под

кроватью, весь застыл, стараясь не дышать, и жмурил глаза, чтобы не глядеть.

Так гость-Депутат его не заметит!

И сидел на корточках точь-в-точь, как когда-то в курнике на гусиных яйцах, сев тогда, чтобы гусей вывести.

Не дышал он, не глядел, но все слышал.

Депутат раздевался. Депутат снял сюртук, снял ботинки. Упала депутатская запонка, звякая, покатилась запонка по полу, стала у ног Ати.

И стало Ате нестерпимо жарко, словно не запонка, — уголь дышал в него жаром.

Они говорили. Слова их были самые обыкновенные. Так все говорят, такие всем говорятся.

И по мере того, как Атя вслушивался, бросало его то в холод, то в жар: не слова, а самый склад слов, связь слов, говор слов звучали для него, как распоследняя ругань и оскорбление.

Он ничего не понимал такого, что происходило, он ничего еще не понимал, он только сердцем вдруг понял и через тоску свою, через любовь свою постиг и оскорбленной душой своей увидел, что она не единственная, не царевна Мымра, а как все, как мать его, как Саша и Паня, как крестная, как кухарка Феклуша, такая же...

И пустыня открылась перед ним.

Проколол бы он себе уши, лишь бы ничего не слышать, а ведь все слышал.

И было душе его и телу его так, будто били его, как однажды в Ключах били вора, запрятавшегося под кровать в кухне, били по голове, по лицу, под живот. Глаза остеклились. «Добейте его!» — «Нет, кричат, подождет!» Отпустят — и бьют...

И вот, будто чавкнул кто-то обухом его по темени, затряслась кровать над ним, затрясся пол под ним, все поколебалось — конец его жизни.

Только когда гостя выпустили с парадного хода на улицу, а Клавдия Гурьяновна одевалась, Атя, очнувшись, выполз из-под кровати и вышел из комнаты, не оглянулся, а на вопрос ее: пойдет ли он с ней после обеда на Невский? — ничего не ответил.

*

Без книг и без завтрака шел Атя в гимназию.

Ничего не замечал он. Не помнит, как дошел до гимназии.

Кое-как высидев начало урока, попросился он выйти. Выйти ему позволили.

И он вышел из класса, остался один в уборной.

Пусто было в уборной, стучала вода в водопроводе.

И как вспомнил он, как помянул все, — камни легче:

его царевны не было!

И покатились слезы. Атя заплакал.

Первый раз в жизни заплакал.

Так заплачет земля в последний раз, когда с неба попадают звезды.

О, когда-б эта ночь
Не была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала-б душа.

— — долетала бродячая песня бродячей певицы с соседнего двора на гимназический двор, а со двора с весенним воздухом в окно к Ате.

И Атя сквозь слезы, словно смеялся —

Где искать ему звезду свою — царевну?

СЛОНЕНОК

1

Павлушка засел на второй год в приготовительном классе.

Только он один и был второгодником.

Сидел Павлушка на последней скамейке у шкапчика: у шкапчика всегда второгодники сидели.

Место было не простое, особенное.

Всякий день после молитвы, когда учитель Иван Иванович запирал в шкапчик журнал, чернильницу и ручку, только с Павлушкина места можно было заглянуть в этот шкапчик.

И чего-чего только в шкапчике не хранилось: разные коробочки, ножички, картинки, кораблики, раковинки, стрелки.

Так повелось: если кто из учеников приносил в класс какую-нибудь любопытную вещицу, Иван Иванович отбирал ее и прямо в шкапчик.

Гимназия была старая, Иван Иванович — старый, шкапчик — битком набит.

Раз Павлушка с л о н е н к а подсмотрел.

Серый слоненок, как настоящий, с хоботом и клыками, а уши мягкие, большие, и хвостик.

«Там, пожалуй, и еще кто-нибудь такой сидит,

какая-нибудь заводная машинка, пистолет или обезьянка!» — подумал Павлушка, и завертело: как бы это устроить, чтобы в шкапчик пробраться, потрогать все, посмотреть и с собою взять.

Долго ломал он голову, а придумать ничего не придумал, — одному невозможно.

Хорошо, что Доронин и Воскресенский, с которыми сидел Павлушка, оказались ему на-руку.

Доронин—Т р я с о г у з к а, востренький, розовенький, и озорничал, а виду не показывал, все оставалось шито-крыто.

Воскресенский — П у г а л о, вихрастый и веснушчатый, лез прямо на рогатину, сух из воды никогда не выскакивал.

Прежде всего Павлушка экзамен им задал, удочку закинул.

И не ошибся. Поверил. И все трое, как один, сговорились.

Уговор лучше денег — чур! никто никого не выдаст.

Приходили они спозаранку и приступали.

Трясогузка у дверей караулил, Павлушка с Пугалом работали.

Ковыряли замок по-всякому: и пером и ручкой, и шпилькой и гвоздиком.

Хоть бы что — дудки!

— Надо стамеской, — сопел Пугало.

— Винти уж! — подгонял Павлушка.

Ни с места.

И бросали, и опять сызнова.

Как-то шпилька и переломилась.

Туда — сюда — пропали! Кусочек засел в нутре.

Пришел Иван Иванович, прочитали молитву, стал Иван Иванович отпирать шкапчик. Туго. И так вертел, и сяк.

Пыхтел, пыхтел, насилу отпер.

— Кто?—спрашивает, а сам из-под очков смотрит.

Молчат.

Никто, как Павлушка с Пугалом.

Отпирались.

Не вывезло. Хуже.

— В карцер на два часа.

Засадили их в карцер.

Сидят. А дума одна:

как шкапчик открыть, чтобы все посмотреть,
потрогать и с собою взять.

— Надо подпилком, — решает Пугало.

— Подпилком что! — шурупом, раздобыть шуруп, повинтить — и готово дело.

2

На дворе октябрь.

Кончается четверть. Скоро станет Иван Иванович баллы выводить. А у Павлушки едва тройка выходит, тройка с минусами.

Падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, где-то у ног таял.

Таял снег на крышах, только на дровах дровяного двора лежал легким белым слоем.

Было скользко, ноги не слушались.

Голодный, в длинной, сшитой на рост шинели, таща на уцелевшем ремне изодранный ранец, плелся Павлушка домой из гимназии.

И почему это он не может, не запинаясь, как Медведев, считать по порядку? И хитрости-то тут нет никакой: веди счет сзаду наперед, и только:

«33, 32, 31, 30»...

Вот и не сшибся, а тогда в классе ни с места: стал перескакивать, мяться.

«Тупая голова!» — сказал тогда Иван Иванович и поставил двойку.

— Тупая голова! — Павлушка снял картуз и потрогал себя за голову, — тупая голова... на третий год не оставят.

— Выгонят, — будто ветром донесло с дровяного двора.

Павлушка расстегнулся и, запрокинув голову, принялся ловить ртом снежинки.

Снежинки холодные падали, щекотали горло. Горло сжималось.

Так невесело, так ему было невесело, — плакать хотелось.

И представлялось, как его из гимназии выгонят, как тогда он до дому дойдет, как придет домой.

«А дальше?»

«Дальше вот что, — будто говорил ему кто-то на ухо — ты запрись т а м, ну, приноровись, да головой бух в дыру, или застрелись ружьем».

«А если не выгонят?»

«На третий не оставляют».

— 33, 32, 31, 30... — шептал Павлушка.

«Вот, вот, здорово!» — одобрял и пытал чей-то голос, то суровый, то ласковый.

Павлушка вошел к себе в дом.

Дома мыли пол.

Все было подоткнуто и перевернуто.

Слонялся Павлушка по столовой, отщипывал мякиш.

И только после обеда, когда все уложилось, и кухарка Маланья — А к с о л о т пошла в баню, Павлушка присел к своему столику, но ранца не расстегнул и к книгам не притронулся — завтра!

Так просидел он, пока не стало смеркаться и не ударили ко всенощной.

Уши горели у него, как на улице, и ничто не занимало, думалось тяжело об одном.

Стеклянный к о з л е н о к из-под духов — любимец Павлушкин, — как повалился, когда передвигали столик, так и оставался лежать на боку.

«И пускай себе лежит, эка!»

Лень было руку протянуть и навести порядок.

А Павлушка такой аккуратный. Всякую пылинку сдует, соскоблит, подчистит. Старшая сестра Катя, у которой жил Павлушка, звала его Кротиком: «Кротик все соберет, ничего так валяться не оставит!»

На этот раз Павлушка не прибрал стол Кати.

«Пускай, только бы ружье достать».

3

В церкви за всенощной Павлушка стоял сумрачно, букой. Смотрел он в темный лик Божьей Матери, смотрел на драгоценные камни и жемчуга белой ризы.

Разноцветные лампадки, полные масла, разноцветно горели, и от света играли камни и жемчуга таяли.

Но душа Павлушкина была в потемках.

Крестился он, когда крестились, кланялся, когда надо было кляняться.

И чудился ему какой-то запах.

Пение и молитвы будто выплывали из этого запаха и так плавали пропитанные.

Ладан не гасил, а распускал его по всей церкви.

«Утром за обедней отпевали жену бондаря. Бондариха испортилась. Вот и не продохлась», — решил Павлушка.

Впереди, у амвона, стоял бондарь в чуйке и, широко крестясь, бухался в землю.

Павлушка и раньше слышал, что бондариха давно хворала, что ее много лечили и даром — ничего не помогало, а бондарь жаловался на обузу.

«Это он и бухается от радости, что Бог ее прибрал, надоела она ему. Думает, померла, и крышка, не увидит... Не-ет!» — Павлушка пискнул от злорадства: он знал, что бондариха тут, в церкви, стоит где-нибудь в уголку, все видит, все понимает, только ее не видно. Как в шапке-невидимке.

«Надеть шапку-невидимку, вынуть из кармана у Ивана Ивановича ключи, отпереть шкапчик, вытащить слоненка... двойки переправить на пятерки, а потом что-нибудь такое»...

В алтаре вдруг поднялась суматоха.

Дьякон бросился от жертвенника к престолу, псаломщик, читавший шестопсалмие, остановился.

В тишине, недоумевая, переглядывались.

Наконец, разрешилось: из алтаря под руку вывели священника.

Измученный, с открытым ртом, ткнулся старик священник заплаканным лицом в темный лик Божьей Матери:

— Владычица, прости меня!

И пошел из церкви.

Служба продолжалась, псаломщик читал шестопсалмие. Голос его звучал твердо и уверенно.

И все, кто был в церкви, теперь знали твердо и определенно, что священник уже не вернется в церковь, что он умрет, дорогой ли, дома ли у себя, все равно, умрет.

— Все умрем, — говорило что-то в словах псаломщика, — умрем, и принесут сюда, поставят тут перед амвоном...

И вспомнилось Павлушке, как хоронили одного актера. Тоже старика. В церкви на отпевании рассказывали, будто играл актер на театре и помер. Моментально помер. Смыли с лица краску, положили его в гроб, принесли в церковь. Церковь была полна актеров, бритых и чудных, да актрис в больших шляпках. Когда кончилось отпевание, священник дал покойнику рукописание, полил маслом, поклонился и пошел в алтарь. А с паперти уж несли крышку белую, глазетовую. И покрыли гроб крышкой, стали гвозди вбивать... Жутко было. И было еще какое-то успокоение, уверенность, что вот заколачивают гвоздями и сейчас понесут на кладбище, и там опустят в яму и землей завалят —

— Не тебя! — чуть не взвизгнул Павлушка, как и тогда на отпевании, как и тогда от нахлынувшей радости.

Тут стал перед глазами другой случай.

Тоже раз зашел Павлушка в церковь: тоже покойник был. Уж прощались. Прощались как-то робко, руку не целовали. Только смотрели на огром-

ные стеклянные руки. И вот женщина старая, горбатая от горя, одна целовала эти руки, целовала лицо, полузакрытое желтой ватой, целовала рот, а изо рта темной струйкой бежала сукровица.

«И меня!» — казалось, надрывалось что-то в этих поцелуях единственных... она не хотела остановиться, не хотела перестать, не могла оторваться, и целовала и лицо и руки, а с паперти уж несли крышку белую, глазетовую.

«И тебя! все равно... принесут!» — злорадствовал тогда Павлушка и, теперь вспомнив, похолодел весь.

— Принесут... чтобы меня не приносили, чтобы не умереть мне, Божия Матерь, сделай Ты... ведь я маленький! — Павлушка стал на колени и, кланяясь в землю, ударялся лбом о холодные плиты.

Играли камни на белой ризе, жемчуга таяли, и казалось ему, лик Божьей Матери участливо глядел на него.

Знал Павлушка твердо, все Она даст ему, ни в чем не откажет... не будет двоек, слоненок у него будет... он, ведь, ни в чем не виноват...

«А бондарь виноват?»

Бондарь, бухаясь в землю, вытягивал ноги. На тяжелых сапогах сверкали подковки.

Павлушке вдруг захотелось подковок.

«Ты отними от него, дай их мне!»

И он протянул руку к сапогу бондаря попробовать, не отвалились ли чудом подковки, и пораженный, остановился: справа и слева сверкали такие же подковки.

А почему у него нет подковок? Почему только один он стоит маленький, ни в чем невиноватый и всем чужой?

И вдруг понял.

Кругом были грешные, несчастные, грешные, как бондарь.

Они молились —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Они просили —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

— Мне будет ответ, я не виноват ни в чем, — шептал Павлушка, и ему до боли стыдно, что он не виноват ни в чем...

— Слава Тебе, показавшему нам свет! — дьякон растворил царские врата, и запели певчие: Слава в Вышних Богу.

Павлушка стоял, как пригвожденный, не засматривал в окно, как всегда засматривал: не увидит ли свет показавшийся?

Мимо неслось Великое славословие, он повторял одно слово черное, звал темное с подковками, с серебряными.

— Пускай мне двоек наставят, пускай меня вы-

гонят, пускай меня чорт возьмет! — шептал Павлушка, прося и требуя.

Всенощная кончилась.

Бочком вышел Павлушка из церкви и побрел домой. Шел он домой оголтелый, распахнувшись, нес он не сердце, а комок вместо сердца.

Хотело сердце, ни в чем невиноватое, быть грешным, повинным.

Хотели глаза, ни в чем невиноватые, плакать от отчаяния.

Молить —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Просить —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

Хотел Павлушка, чтобы ч о р т сцапал его, чтобы чорт посадил его к себе на закорки и пустился бы с ним по белому свету, куда хочет, куда глаза глядят.

Хотел, чтобы рука огромная, стеклянная покойницкая схватила его и тут бы на месте прихлопнула.

Быть бы ему вот этим отходником, трясущимся на бочке, ехать бы, трястись ему оборванному и голодному в ночь на грязную работу, нюхать этот отвратительный запах и копаться в зловонной бурде.

Павлушка стремительно повернул с тротуара и пустился за бочкой, стараясь как можно больше надышаться мерзостью и норовя выпачкаться.

4

Спинка. Брюшко.
Рак. Лягушка.
Детская игрушка.

— пели — выговаривали хором: Трясогузка тонко, Павлушка потолще, а Пугало толсто, и выделывали при этом руками разные финтиклюшки, заканчивавшиеся дружным кукишем.

— Павлушка, — просунулась в дверь Маланья-Аксолот, — поди-ка сюда, что я тебе скажу.

Все повскакали к Аксолоту.

— Мухтар пришел, ворону приволок, варить что-ли?

Павлушка погрозил пальчиком, и на цыпочках всей гурьбой двинулись гимназисты в кухню.

Главное, надо было все от сестры Кати скрыть, а то Катя еще возьмет, да и выбросит ворону за окошко. А о вороне Павлушка давно умом раскидывает. Ему как-то попалась одна книжка, в книжке всякие звери и птицы нарисованы были, и рядом с птицами что-то в роде смерти. «И не смерть это, — объяснила Катя, — это скелет, а скелет можно и самому сделать из вороны». И с тех пор засела ворона Павлушке в голову, колом не вышибешь, — непременно захотелось ему скелет устроить, и чтобы скелет у него на столике стоял с стеклянным козленком.

Мухтар, лохматый дворник в валенках, и

весь какой-то будто сделанный из валенок, топтался в кухне, кадя себе под нос дохлой вороной.

Обступили гимназисты Мухтара, выхватили из рук ворону.

Положили ворону на грязную табуретку из-под помойной лоханки, подсучили рукава и уселись кружком на корточки. Трогали ворону пальцами, рассматривали всю кругом, расправляли крылья, потом за клюв принялись, раздирали задеревенелый клюв.

— Ворона старая, — сказал Павлушка, — ни одного целого зуба.

— Ворона жрет десной, у их сестры зуба не водится, — Аксолот-Маланья поставила на плиту до верху полный поганый чугун.

— Нет, водится, — заступился Пугало, — вот такие в семь аршин, круглые...

— Круглые! — передразнила Маланья, — круглый-то зоб, как яйцо.

— Зоб вон, под шейкой, там камни хранятся, не знаешь ты!

Маланья подкладывала дров в печку. Вода нагревалась.

А ворону гимназисты щипали. Перья складывали они в кучку. И тряслись над каждой пушинкой, чтобы потом из вороньего пуху Аксолоту перину сделать.

А как ощипали, зажгли лучинку и стали лучинкою палить ворону, чтобы все пенушки вывести.

И вывели они пенушки, принялись потрошить.

Обломанным перочинным ножиком взрезали зоб: искали камней, но камней не было, а была какая-то липкая труха.

Перемазались, все перемазали: и руки, и лицо, и курточку.

Не отрубая головы, положили ворону в чугун.

Закипела ворона.

И пошел по всем комнатам такой смрад, такой дух, хоть из дому беги.

Прибежала Катя, рассердилась, ворону велела в сени вынести, а детей прогнала из кухни.

Вот тебе и ворона!

Гимназисты потащили за собою Мухтара. Мухтар был выпивши, а когда Мухтар выпивши, с ним весело, и вороны не надо.

— Мухтар, а Мухтар, покажи, как ты... это делаешь? — щипали и подпихивали дворника, напихивая на него вертлявого Трясогузку.

— Нельзя, нельзя, — отбрыкивался Мухтар.

— Да не умеешь! да ты не умеешь! да ты, ты не умеешь! — дразнили, поддразнивали дворника, пока его не прорвало.

И Мухтар облапил Трясогузку.

А Трясогузка-Доронин дал ему под-ножку, вы-

вернулся, да и был таков. И полетел Мухтар к чорту на кулички — грохнулся об пол.

И ползая по полу, хорохорясь, представлял дворник и выделывал разное т а к о е.

Грохотали от удовольствия гимназисты, покатываясь со смеху.

— Ну, теперь спой, Мухтар, спой нам, пожалуйста!

И поднявшийся на ноги, разморенный, запел Мухтар песню несуразную и таким же, как весь валенный, каким-то валенным голосом:

Что же ты, Матрена,
К лесу не пришла,
Али ты, дурёна,
Другого нашла.

И остановился:

— А дальше нельзя.

— Нельзя! нельзя! нельзя! — задразнили снова Мухтара.

Просунулась в комнату Аксолот-Маланья, позвала Мухтара: его в сторожке спрашивают.

Мухтар обозлился и ругался.

И, ругаясь, вышел.

Ушел Мухтар. Чего бы еще выкинуть? Сидеть так, сложа руки, — скучно. Раздумывали.

Павлушка подговаривал впотьмах на чердак лезть, да дело не выгорело: поймают, изобьют, как жуликов.

Наконец, выдумали игру.

Пересчитались, кому водить, и начали.

Трясогузка и Павлушка хлестали ремнями Пугалу, а Пугало, взобравшись на стул, отхлестывался.

Вся игра в том только и заключалась, чтобы о т х л е с т ы в а т ь с я.

Сначала все шло мирно, хлестались по-нарочну, потом перешли и по-заправду, норовя двинуть пряжкой.

Павлушка хватил Пугалу по лицу, Пугало не удержался и кувырнулся со стула. Кувырнулся Пугало, ударился об пол, — заплакал.

Задрало остальных.

— Нюня! Нюня! Нюня! — принялись дразнить.

— Пугало! Пугало! Пугало! — поддразнивали.

— Сам Пугало! второгодник! — отбрыкнулся было Пугало на Павлушку.

— А твой отец — пропоица, сосуд за обедней уронил.

— Пропоица! Пропоица! Пропоица! — наступали на Пугалу.

Пугало плакал.

И чем бы все кончилось, кто его знает, да за Трясогузкой горничная пришла домой уводить.

Поднялся было и Пугало, да опять сел.

Увела горничная Трясогузку. Пугало с Павлушкой одни остались.

И стало вдруг Павлушке стыдно, что обидел он Пугалу.

— Пугало, поди сюда! — позвал Павлушка робко.

Пугало всхлипывал.

— Поди сюда, говорю, слышишь?

Но Пугало все всхлипывал.

— Давай, Пугало, слоненка унесем! — тронул Павлушка Пугалу.

— Давай.

— А как же мы его унесем?

— Стамеской.

— Стамеской не выйдет, долотом лучше.

— Долотом.

— А когда мы его унесем?

— Завтра.

— Никому не скажем?

— А дразнить не будешь?

— Я тебе, Пугало, козленка отдам, хочешь?

— Хочу.

Павлушка отыскал тряпочку, бережно закутал в тряпочку стеклянного любимого козленка, чтобы козленку холодно не было, и подал его Пугале.

— Вот тебе, Пугало, бери!

Пугало встал, вихры торчали и щеки горели.

— Павлушка, — сказал Пугало не по-своему, — ты... папашу... в заштат выгнали... благочинный. Мы, Павлушка, с голоду помрем.

5

Утром на следующий день Павлушка в гимназию не пошел. Надел было ранец, и подкосило.

Поставили Павлушке градусник: жар. Хотели в постель уложить, заартачился, не хотелось ложиться.

Пошел ходить по комнатам.

В окно смотрел.

За окном падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, таял.

Таял снег на крышах, только на дровах у сарая лежал легким слоем.

И так тянулось время, так невесело.

Так Павлушке было невесело, — плакать хотелось.

Столик стоял сиротливо, — к о з л е н к а не было. Жалко стало козленка. Зачем его отдал? Теперь у него нет ничего. И у Пугалы тоже нет ничего... с голоду помрет. И козленок и Пугало.

«А слоненок?»

Закрыл Павлушка глаза, стал на пальцах гадать: принесет Пугало слоненка или не принесет?

— Нет. — Нет. — Нет, — шептал, гадая, Павлушка.

А ну, как никакого слоненка и нет в шкапчике, а так он его себе выдумал? И откуда взяться слоненку в шкапчике?

А если слоненок на самом деле сидит в шкапчике, то дастся ли слоненок взять себя? Пойдет ли к нему? Не всем ведь дается слоненок, не ко всякому идет. К Пугале пойдет, а к нему?

Закрыл Павлушка глаза, завертел пальцами.

— Да. — Да. — Да, — шептал он, гадая.

В комнату сестры Кати вошел настройщик, стал пьянино настраивать.

— Серый слоненок, серая мордочка — будто выговаривая, ударяла нота.

Павлушка лег на кровать прилечь и прислушивался.

— Серый слоненок, серая мордочка, — ударяла нота.

И представилось Павлушке, будто какой-то маленький зверок выскочил из часов, подполз к кровати, понюхал его и забегал по комнате.

Бегает зверок на одной ножке, выпускает паутину, путает комнату, приплясывает.

И хочет Павлушка встать, поймать зверка, и не может. Не может он ни голову поднять, ни рукой тронуть.

Бегает зверок на одной ножке, паутиной путает комнату, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок . . .

Опутал зверок комнату, стулья, стол, опутал

кровать, опутал Павлушке ноги, опутал руки, путает тело.

Сердце Павлушкино путает.

— Слоненок, миленький, не трогай меня! — плачет Павлушка.

Но зверок-с л о н е н о к не слушает, ему и горя мало, все шибче, все прытче бегает по комнате, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок . . .

И вдруг для Павлушки понятным становится, что не зверок это, не слоненок, а ч о р т.

Павлушка раскрыл глаза испуганные, ни в чем не виноватые, измученные.

В комнате сестры Кати настройщик настраивал пьянино.

*

У Павлушки корь.

Третий день, как началась корь, и теперь жарила во всю.

В первый же вечер забегал Пугало, принес Пугало Павлушке з а я ч ь ю л а п к у.

Лапку положили больному под подушку, а Пугалу прогнали: заразится.

Всякий день пичкали Павлушку противною касторкою. Аксолот-Маланья давила капсулю и, раз-

мазав касторку на кусочек черствого хлеба, потчевала Павлушку.

От одного воспоминания у Павлушки в глазах мутилось.

Слава Богу, больше не надо!

Пришел доктор, посмотрел язык у Павлушки, пульс щупал.

«Павлушка не должен чесаться, а то хуже будет».

А Павлушка почесывался: притворялся, что спит, и сам почесывался.

Вот вышла Маланья-Аксолот в кухню, притворила за собою дверь плотно. И когда совсем в доме затихло, Павлушка соскочил с кровати и, ступая босыми ногами по холодному полу, дрожа всем телом, пробрался к зеркалу.

Глянул на себя в зеркало и зажмурился. И снова с болью впился тяжелыми глазами на свое непохожее лицо.

Не было места не покрытого красным лоснящимся пятном, сплывающимся с другим таким же красным и лосным, и с третьим, везде: на лбу, на голове в волосах, на носу, на груди.

Ощерил Павлушка зубы и не блестящие и белые, а мутные теперь, мутно-зеленоватые. Хотел язык совочком состроить, а язык тяжелый, не поворачивался.

Шептал Павлушка нестерпимо чешущимися губами и гримасничал, — не узнавал себя.

И вдруг понял, что отражается в зеркале, смотрит на него из зеркала не он уж, — он умирает и скоро умрет.

Шатаясь, отчаянный подполз Павлушка к кровати, надернул на себя одеяло и, в страшном холоде и тоске недетской, скорчился.

И ему казалось, он большой и не только большой, а старый, как тот старик-священник.

«Владычица, прости меня!»

Комната наполнялась ходом часов, слушал Павлушка, как часы х о д и л и, а ходили они будто на длинных ногах в мухтарских валенках, ходили по комнате вокруг кровати, шлепали:

— И тебя! не уйдешь!

Павлушка нащупал под подушкой заячью лапку, ухватился за лапку, как за последнюю соломинку, но не поддалась лапка, выюркнула из рук.

И стала лапка под одеялом прыгать, проскочила ему за ворот под сорочку, выпустила коготки, зацарапала по голой спине.

— Лапка! лапочка! — стонал Павлушка.

Но удержу ей не было.

И все пришло, все сошлось, чтобы мучить Павлушку.

Прилетела ворона ощипанная, пустая, без внутренностей, уселась синяя над головой, разинула клюв —

Вышел слоненок из шкапчика, выгнул хобот,

поймал за ногу и потянул Павлушку с кровати на пол —

На полу дьякон ползал — отец Пугалы — растерзанный, что-то красное — причастие — собирал горсть, чмокал пьяной губой —

И сыпались сверху с потолка на Павлушку ножички, стрелки, машинки, коробочки, картинки, кораблики, раковинки, бальники, двойки — стреляли, давили, резали, крышками защемляли пальцы, царапались —

И уж не видел он ничего, ничего не слышал, он летел куда-то в пропасть, он летел на закорках у чорта, летел не по белому свету, а по чортову полю.

И представилось Павлушке, идет он будто с сестрою Катей по огромной, широкой каменной площади на чортовом поле. Схватились они за руки, торопятся. И жутко и страшно им, и куда идут — сами не знают. Одно знают, пришел конец.

И нет им спасения.

Знают они, кто-то, какой-то старик слепой и гадкий подстерегает их. Он давно подстерегает их.

И нет им спасения.

И чувствует Павлушка, что старик уж тут. Да вон бледный, изможденный, с зеленоватою бородой, как бондарь. Старик стал на тумбу, вот-вот бросится...

И нет им спасения.

Схватил Павлушка тяжелый лом, ударил стари-

ка по лысине. Бьет и сам чувствует, что сил уж нет больше, нет сил еще раз поднять лом.

А старик поднимается с тумбы, бледный, изможденный с зеленоватою бородой, как бондарь.

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

6

Много недель провалялся Павлушка.

Вытянулся Павлушка, глаза потемнели, и все будто внове: слышал он каждое слово, каждому слову радовался и предмету.

Потом скучища напала смертная. Никого к нему не пускали, а самому не позволяли из дому выходить.

Ушла осень, пришла зима.

Все стало белое, снег похрустывал.

Выбежать бы на улицу, да в снежки!

Играли другие.

А что толку в окно смотреть, как играют другие?

Скучища была смертная.

И вот, наконец, на Катины именины, в первый раз Павлушка на волю вышел.

Появились в доме Трясогузка и Пугало.

Под орех разделывали, чего они только не выкидывали.

Да всему есть конец. Прогнали их в комнаты.

И весело было на именинах у Кати, как никогда.

Пили красное вино, ели мороженое. Отмочил Павлушка коленце: вымазал себе нос табаком.

— Сыт, пьян и нос в табаке!

Вымазались Трясогузка с Пугалом, вымазали Мухтара и Аксолота-Маланью. Потом передрались, перецарапались, а кончили миром.

С л о н е н о к все равно их будет!

Мухтар достал плоскозубцы, — у них есть теперь плоскозубцы, а плоскозубцами все можно.

Завтра пойдет Павлушка в гимназию.

Завтра же они отопрут шкапчик, вынут слоненка. Запрягут они слоненка в санки, и помчится слоненок по улицам, мимо гимназии, в поле.

— Будем кричать и петь во все горло!

— Ничего не будем бояться!

— Нацепим слоненку на мордочку красную ленточку!

— Порвем книжки и бальники!

— На край света поедем!

— А гимназию к чорту!

ГАЛСТУК

1

Еще ранней осенью заметили на Невском черного студента, отличавшегося от других студентов нарядных, в своих новеньких мундирах. Новички, попавшие впервые в Петербург, обыкновенно партиями прогуливаются по Невскому, с любопытством осматриваясь по сторонам и подолгу останавливаясь у витрин магазинов.

Обративший на себя внимание черный студент тоже был новичек и тоже франтовато одет, но и лицо его и манера держаться очень выделяли его.

С черными горячими глазами, черный — другого черного такого не было на Невском.

Глаза его, даже когда он и улыбался, а он очень игриво улыбался, сохраняли неизменно одно и то же выражение: какая-то старая печаль, какая-то пережившая века древняя грусть, из века в век поддерживаемая непотухающим скрытым огнем, светилась из его глаз. А когда он скашивался, не поворачивая головы, в сторону пробегавшей модницы, видны были лишь огромные блестящие белки.

В походке его было много уверенности и солидности, шел он ровно, не раскачиваясь и не размахи-

вая руками, и в то же время чувствовалось, что среди гуляющих он самый и есть самый вздорный и фантастический.

— Абдул-Ахад, — сказал как-то черный студент, представляясь беленькому пугливому студенту.

— Турка! — подмигивали лакеи в кофейных и приказчики в магазинах при виде Абдул-Ахада.

Любители арабских сказок должны были почувствовать большое волнение, случайно столкнувшись с Абдул-Ахадом — Туркой, как стали звать его товарищи-студенты.

С Невского Турка перебрался на Васильевский остров. На двенадцатой линии он нанял комнату. И уж к началу зимы весь остров знал Турку.

Турка богатый и щедрый.

Турка у всех на виду.

И не было, кажется, ни одной барышни на острове, в которую не влюбился бы Турка, и не было на острове ни одной барышни, которая не вздыхала бы о Турке.

Самые невероятные и смешные легенды ходили о Турке.

Правда, и сам он первый любил порассказать о себе, и много невероятного и смешного, и о путешествиях, и о приключениях, и притом так, будто все сам он и путешествовал, и приключения его собственные.

Любители арабских сказок должны были почув-

ствовать большое волнение, случайно подслушав рассказы Абдул-Ахада.

А беленький пугливый студент, к которому Турка чувствовал особенную нежность и всегда покровительствовал, беленький пугливый студент, неизменный спутник Турки, как-то хвастаясь о своем покровителе, передавал не без задора и гордо, будто Турка еще приготовишкой в гимназии, был уж отцом семейства и притом чувствовал себя в своей роли совсем неловко.

Да и сам Турка, в минуту особенной откровенности, что-то подобное о себе рассказывал и даже представлял свою тогдашнюю гимназическую неловкость: стоять в углу, будучи отцом!

Верить особенно не верили, но весело было очень.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка пришла! — весело, с добрым смехом встречали Абдул-Ахада, когда он появлялся на студенческой вечеринке.

Турка привык к Петербургу, обжился, как другие турки — х о х л а т ы е т у р к и, так называла хозяйка Абдул-Ахада сфинксов у Николаевского моста, привыкли к холодной Неве, к бледному небу, к изморози и петербургскому ветру.

Турке всегда жарко — и дорогая шуба его всегда нараспашку.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка! Турка! — весело, с добрым смехом встречали на улице Абдул-Ахада.

Но Турка капризный: сегодня весел, а завтра плачет, сегодня всякие рассказы и самые фантастические планы, а завтра блестят белки.

И это все знают — и смех его и слезы, и гладят Турку, когда он плачет.

— Милый Турка, полно! — и гладят, будто кошку.

На Святках Турка рядился, после святок сел за лекции.

Но что для Турки лекции? А что полицейскому приставу Турка?

Нежданно-негаданно попал Турка не на свою двенадцатую линию и не к хохлатым-туркам-сфинксам, мимо которых так часто ходил Абдул-Ахад, а попал Турка на Арсенальную набережную в Кресты.

2

Попасть в Кресты очень просто.

Случилась на Невском демонстрация. На демонстрации случился Турка. Какая же демонстрация без Турки? На демонстрациях много знакомых и очень весело, как ни на каком балу, ни на каком маскараде.

— Турка! Турка! — кричали товарищи, весело встречая Абдул-Ахада.

И сначала все шло весело и задорно, но у Думской каланчи демонстрантам устроили ловушку, и пущены были в ход нагайки и шашки.

Турка все, что хотите, и в приготовительном классе в гимназии он уж был отцом семейства, все это правда, а в Китае он никогда не был, хоть и рассказывал о живых поджаренных рыбах, которыми угощал его какой-то важный китаец, но Турка — рыцарь, Турка не может допустить, чтобы хорошенькую барышню, да еще его знакомую, бил солдат шашкой.

Три молоденьких курсистки бросились на Думскую лестницу и, закрываясь руками, стали на колени спиною к солдатам.

Солдат поднялся за ними и поочередно стал наносить удары тяжелой крепкой шашкой.

Турка пришел в ярость.

А кто-то захохотал из толпы, отпустив обидное про несчастных, терпеливо стоящих на коленях избиваемых барышен.

И с разных концов визг и крики.

Кругом бежали и падали.

Черный, с черными горячими глазами не бежал Турка, как другие, и не кричал, как другие, он только выворачивал свои горячие глаза.

И ярость дошла до точки.

А белки блестели так страшно, что у городового,

вышибавшего последний дух из своей черной подвернувшейся жертвы, на минуту промелькнуло:

«Да уж не сам ли это живучий чорт окаянный?»

Дух из Турки не вышибли, а в Кресты попал.

*

Вместе с Туркою, как и Турку, привезли в Кресты с демонстрации много студентов, и скоро из всех самым беспокойным, самым вздорным оказался Абдул-Ахад—Турка.

Когда всякие подтеки, ушибы, ссадины и царапины поджили, ожил и Турка. Ожил Турка, — и как малый ребенок... Что с него взять?

На свидание к Турке ходили две невесты.

И в обеих Турка был влюблен, и уж сам хорошенько не знал, какая из них лучше и какую он любит больше.

Цветы, шоколад, пирожки носили в тюрьму невесты. Свидания длились долго. Но Турка капризничал, ему все мало. Турка просил допустить к нему еще и третью невесту.

И разрешили ходить к Турке трем невестам, — каждая ходила по очереди. И этого мало, Турка не унимался.

Да и как было уняться, ведь на самом-то деле их было не три, а тридцать три невесты!

Камера Турки помещалась во дворе, на пятом

этаже. Окна высоко. Так, с пола ничего не увидишь. Турка на стол ставил табуретку и, взобравшись на табуретку, по вечерам смотрел в окно.

А там, по набережной, от самых хохлатых турок - сфинксов прогуливались его невесты, все тридцать три.

Турка только о них и думал, ждал свидания, и во сне всю ночь только их и видел.

А тут весна пришла. Стали строго запрещать в окно смотреть. Но кому же, как не Турке, смотреть в окно, когда весна пришла?

Турка приказаний не слушался.

Пугали карцером — не испугался.

Сажали в карцер — не действует.

И бросили. Что с него взять?

Раньше, на воле, весь мир его делился: на хорошеньких барышен, на просто молоденьких и вообще на женщин — в первых он влюблялся, во вторых не прочь был влюбиться, а за третьими всегда был готов поухаживать.

А теперь, когда пришла весна, он всех стал любить и любил равно, не деля никого: и хорошеньких, и просто молоденьких и вообще всех женщин.

И уж по набережной всякий вечер прогуливались и не тридцать три, а триста тридцать три невесты, — он видел их собственными глазами.

Все женщины были его невесты.

На Пасху Турка даже плакал. Плакал он оттого,

что его в церковь не повели, когда всех его товарищей водили, а еще оттого, что вечером, увидав из окна прогуливающихся по набережной всех своих невест, ему стало их очень, очень жалко.

Пришел май, белые ночи.

Из окна смотрел Турка на май, на белые ночи.

Как-то, после проверки, взобравшись на табуретку невест смотреть, заметил Турка, что из соседнего решетчатого окна торчит черная борода.

Сосед тоже увидал Турку и, предупреждая, стал делать знаки не разговаривать.

С Туркой разве сговоришь?

Турка обрадовался черной бороде.

— Давно сидите?

— Два года.

— Откуда?

— Из Вилейки.

— По какому делу?

— По доносу. Я ничего не знаю.

— Навещает кто?

— Нет. У меня дома жена и девочка.

— А чем занимались?

— Меламед — учитель.

— Не скучно?

— Коробки клею.

— О жене скучаете?

Но сосед ничего не ответил, — черная борода юркнула за решетку.

Да и к Турке постучал часовой, пришлось слезать.

Когда же отошел часовой, Турка снова вкарабкался к окну и снова принялся вызывать соседа, но черной бороды больше не показывалось, и видна была из-за решетки одна согнутая, усталая спина.

Потом Турка забыл о бороде, а тут, наконец, и выпустили Турку. Что с него взять?

3

Вышел из К р е с т о в Турка и прямо на Невский, и уж не знает, что с собою делать и куда деваться.

Итти к знакомым? К знакомым он и завтра поспеет — три дня срока ему, три дня разрешили жить в Петербурге, за три дня он успеет все сделать и со всеми повидаться.

Турка ходил по Невскому и улыбался, всем улыбался, и молодым и старым.

— Турка! Милый Турка, как поживаешь? — улыбались ему в ответ, так казалось ему, что улыбались.

От нечего делать он заходил в кофейные, ел пирожки, пил кофе, заглядывал в кинематограф, но долго усидеть нигде не мог.

— Турка! Милый Турка, как весело, хорошо на воле! — шумели, жужжали, нашептывали прохо-

жие, так слышалось ему среди шума самой шумной улицы.

Показывали на Невском диких-людоедов. Из Новой Гвинеи привезли в Петербург людоедов.

«Самое дикое племя на всем земном шаре!» — так зазывала афиша.

Пошел Турка смотреть диких-людоедов. Людоеды были совсем как театральные черти, а улыбались, как сам Турка. И не утерпел Турка, взобрался к ним на эстраду.

Дикие не понимали, что говорил им Турка, да и другие, не-дикие, как и сам Турка, едва ли что понимали, но впечатление было неожиданное: дикие, приняв его, должно быть, за своего бога, натянули луки и, выпустив свои стрелы, и став из маленьких огромными, как Петр Великий, пустились так неистово прыгать по-кенгуручьи и так зарычали вепрем, что публика, давай Бог ноги, скорее к двери.

В суматохе за публикой вышел и Турка.

— Турка! Милый Турка, весело, как весело! — кричали ему вслед, так казалось ему, что кричали.

Ладожский лед по Неве прошел и было тепло.

Впрочем, Турке все равно было бы жарко, если бы и лед не прошел.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

По случаю царского дня на Невском вдоль тро-

туара зажгли разноцветные электрические фонарики, а на домах яркие вензеля.

Гуляющих было очень много.

Турка глазел по сторонам и улыбался.

Все таким нарядным казалось ему, таким молодым и чистым, всех, без разбора, всех расцеловал бы он.

На углу Екатерининского канала Турка приостановился.

От Казанского собора показались кавалергарды.

Большие, на конях, в серебряных латах, привидениями двигались серебряные всадники.

Турка смотрел на кавалергардов и улыбался.

И долго серебрились латы среди белой ночи, разноцветных зеленых огоньков и потемневших, бородой висящих, флагов.

Проводив кавалергардов, пошел он за толпою.

На мосту ему приглянулась прохожая — так, черненькая, стройная, совсем как подросток, и ненакрашеная, а глаза блестят, будто кавалергардские латы.

Он улыбнулся ей, и она улыбнулась. Взял ее под руку. Ничего, — улыбается. И пошли.

Шли они и смеялись, как старые знакомые.

Еще бы: ведь, она его невеста! Тут все были его невесты.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

— Далеко к вам?

Она назвала гостиницу.

И из ее ответа понял Турка, что на улице она еще недавно: у себя в комнате не принимает.

Повернули к гостинице. Взяли номер.

И в номере снова Турка убедился, что она совсем недавно на Невском: от пива отказалась.

Коридорный принес лимонаду. Выпили. Стали раздеваться.

Она — еврейка, а зовут ее Розой.

— А вы кто, еврей?

— Нет.

— Грек?

— Нет!

С большими удивленными глазами принялась она перебирать все народности, какие только знала. Дошла она и до китайца и даже до папуаса-людоеда, которого тоже ходила смотреть, как Турка.

— Папуас?

— Нет.

— Турка?

Турка не выдержал и стал хохотать.

— Турка! Турка! — обрадовалась Роза, так радуются дети, когда находят, наконец, и совсем-то не хитро спрятавшегося, и повторяла весело с добрым смехом, как товарищи-студенты, встречая где-нибудь в непоказанном месте Абдул-Ахада.

Розе оставалось только снять корсет.

Турка болтал всякий вздор, уверял, что он не Турка, а самый настоящий людоед и сейчас так вот и съест ее всю и с косточками, и сам хохотал, захлебываясь.

Из-под корсета у Розы вдруг выпало что-то на пол, и Турка заметил. Но Роза быстро схватила с пола какую-то вещицу и зажала в руке.

Что бы это могло быть? И отчего она так покраснела?

— Что такое?

— Нет нельзя, это нельзя! — Роза отступила.

— Почему нельзя? — заспорил Турка, он обнял Розу, усадил к себе на колени, — ну, скажи, ну, что тебе стоит?

— Нельзя, — твердила она, — не спрашивайте, пожалуйста, не надо об этом.

Разве сговоришь с Туркой! Турка стоял на своем: скажи да скажи.

Клялся, что никакой тайны он не выдаст и не будет смеяться: ему, Турке, все можно.

— Все можно, — приставал Турка, — а этого нельзя. Ну, почему, почему нельзя?

Но она крепко сжимала в руке какую-то вещицу и молчала.

Казалось, никакими силами не заставишь ее выдать тайну, хотя бы все невские городовые бросились на нее с своими крепкими кулаками: она решительно отказалась сказать хоть слово.

Пустяки раззадорили Турку. Турка не унимался. Ему надо знать секрет Розы.

Черный, выворачивая свои черные горячие глаза, он схватил ее за руку.

И она разжала руку.

Сначала даже ничего и не понял Турка, не поверил глазам.

— Галстук?

В руке ее был самый обыкновенный черный галстук — середка галстука в виде черной бабочки.

Роза заговорила быстро, путаясь и повторяясь и передыхая, как дети, — так дети говорят или, когда очень рады, на ушко: «Мама, а мама!» — или, когда провинились, горько: «Больше никогда не буду!»

Это галстук. Это галстук ее мужа. Роза не хотела говорить Турке о своем муже. У Розы и девочка есть — девочке три года. Она из Вилейки. Мужа в Петербург отвезли в «черной карете», уж два года. Сосед на него сказал. Муж ее в хедере был меламед.

— Меламед — учитель, повторила Роза.

— А я его видел, твоего мужа, у него борода черная и он худой такой, спина сгорблена, скелет с черной бородой! — обрадовался Турка, вспомнив свой пятый этаж, камеру, вечер и себя на табуретке у окна, — я сам только-что из Крестов, и он там, в Крестах. Кресты на Выборгской стороне, Арсенальная набережная, № 5.

Но уж Роза была не на коленях, Роза валялась на полу у ног Турки и так кричала, словно били ее, и всю душу в ней выворачивало.

Турка схватил графин, налил воды.

Да что же это он сделал такое, отчего она так бьется и кричит?

Но Роза не притронулась к стакану, не поднялась и, лежа на полу в одних чулках и рубашке, взвизгивая, громко, громко плакала, сжимая крепко в руке галстук — середку в виде черной бабочки.

Турка не узнал Розы: это совсем не бледненький робкий и плутоватый подросток, это была исступленная женщина, которую давило горе, старя и кривя ей лицо.

И в дверь стучат: требуют отпереть.

Турка ходил вокруг Розы, не зная, что делать.

— Успокойся, — трогал он Розу, — ну, что такое галстук? Ей-Богу, я ничего не сказал!

В дверь стучали. И, казалось не только в дверь, но и во все стены стучали и в потолок, и не кулаком, а молотом.

И пришлось отворить, — все равно дверь сломают. Турка отпер.

Околоточный, городовой, номерной, извозчик и с ними какая-то девица, должно быть, соседняя, из соседнего номера, вошли в номер.

— Что у вас такое? — околоточный подозри-

тельно оглядывал и раздетого Турку и бьющуюся на полу Розу.

— Ничего, — ответил Турка, — я совсем ничего!

И бросился к Розе, поднял ее с пола и кое-как усадил на диван.

Роза не обращала внимания на вошедших, не видя и не слыша никого, взвизгивая, громко плакала.

Околоточный предложил Абдул-Ахаду одеться: Турка пойдет с ним в участок и там протокол составят.

Да что же это он сделал такое?

Разве он бил ее?

Или сказал что-нибудь обидное?

Ровно ничего — ровно ничего худого он ей не сделал, и не думал.

Турка торопливо, как провинившийся, одевался. Но руки не слушались: и не застегивалось и не прилаживалось, как следует.

А кругом стояли и смотрели на него, как на какого-то пойманного воришку, и, казалось, подмигивали ему:

«Что, мол, взял? Попался!»

В кармане у него было золото, он все положил Розе в ее незанятую руку и пошел с околоточным в участок.

За околоточным вышли и другие: вышла соседняя девица, извозчик и номерной — они свое дело сделали, их больше не требуется.

Осталась только Роза.

Она все плакала, сидя на диване в одних чулках и рубашке, взвизгивая, громко плакала, крепко сжимая в руке галстук — середку в виде черной бабочки и золото Турки.

Она одна осталась в номере, и с нею невский курносый городовой.

ПОЖАР

1

Белая Фекла, ворожея и ведьма, осенним утром родила крылатую черную мышь. И всякий опознал в новорожденном чортово дитё. А Ермил, немой и безногий сын Феклы, закопав у помойки погань, повесился.

В ночь на Катеринин день, когда, по давнишнему заведению, девушки отгрызают ветки и с ветками в зубах ложатся спать, чтобы видеть во сне суженого, среди жестокой бушующей метели загрохотал внезапно гром. А блаженненькую Аленку, дочь старшего железнодорожного рабочего, нашли на рассвете в городском саду опозоренную и мертвую с веткою в зубах.

На Николу показались в дымных облаках три радужных солнца вкруг люто-морозного солнца.

И эти три явившихся солнца легли на город гнетом.

— Огневица, ишь болезнь-то какая, чего уж нам-то простым ждать.

— Не каркай, все под Богом ходим, все у Бога равны.

— Да я что, мое дело — сторона, о. дьякон намедни на ектинье поминал!

Шептались и перешептывались о тревожных вестях.

И уж смутно чувствовалась беда: она стояла на пороге и только ждала положенного ей часа.

— Китаец, тысяча-миллионная армия, прет на Россию прямо с туркой.

— Господи, силища-то!

— А наши, нешто промашку дадут?

— Известно, одно сказывают: б о р с ними.

— Пропащая наша жизнь, вот что!

На ночь тщательно открещивали окна, за лампадкою крепко дозор держали.

— Вот что скажу тебе, Макарьиха, Авдотья сказывала, у купца Подхомутова нечистого из стола кликали.

— И-и! Что ты?

— Вот тебе крест, Царица Небесная! Авдотья баба продувная, да и сама Подхомутиха не отпирается: предстал о н синий о шести лапах.

— Упаси нас, Владычица! То ли еще будет!

— Пропащая наша жизнь, вот что!

Нехорошие сны виделись.

Снилась церковь Нового Спасителя, будто на Пасху, без алтаря и без икон, а в церкви будто удавленник безногий и немой Ермил, сын Феклы, ходит и христосуется.

Снился какой-то мальчик распухший, в занозах весь, кувыркался по полу.

— Сказывал мне солдатик один, столовер,— шамкал сторож при железнодорожных мастерских Семен, — дедушка, мол, напасть на всю Россию идет: расщепился на Москве царь-колокол на мелкие осколки и каждый осколок в змея обернулся, и уползли змеи под колокольню Ивана Великого. Колокольня качается, а как грохнет, и разлетятся сердца человеков, и наступит всеобщее скончание живота.

— Чего не наскажут, умора, да только! Перво-наперво производная сила, а все прочее — пристройка. Отречемся от старого мира...

— Ты у меня глотку подерешь, церемониться с вашим братом не станут, живо в часть, бунтовщики!

«И вообще, — говорилось в полицеймейстерском приказе, — если явится необходимость, то без всяких послаблений будут приняты меры к потушению новоявленных солнц, о которых злонамеренные лица распространяют слухи и мутят мирное население».

Но радужные солнца не пропадали, нет-нет, да и показывались на небе вкруг люто-морозного солнца.

Жизнь шла своим чередом.

Никогда еще по округу не видели такого дорода, не запомнят такого урожая, как летошний. Мельницы без устали нагружались и перемалывали от-

борное зерно. По скрещивающимся железнодорожным путям подвозили и увозили во все концы доверху переполненные вагоны всяким зерном и мукою. Ходко и бойко шла торговля, и покупатель был сходный.

В Рождественский сочельник укокошили Белую Феклу.

И словно камень свалился с сердца.

Старые люди обмылись на Крещение в прорубях студеною крещенскою водою, в домах омелили углы и двери крестиками.

И все пошло по маслу.

Подоспела весна, ранняя и теплая. Зазеленели на Пасху сады и взошла озимь, сильная и крепкая.

На Красную горку заиграли свадьбы.

Кое-кто даже Белую Феклу добром вспомянул:

— Ништо, жить бы да жить старухе, зря загубили душу!

Начались постройки новых домов: с торжественным водосвятием закладывались крепкие фундаменты, и со дня на-день, громоздясь, все выше уносились леса об-бок тесовых крестов, осенявших будущий кров.

На отдание Пасхи немало нашумел архиерейский пожар: из загоревшейся архиерейской бани вынесли обгорелый труп игуменьи Богодуховского монастыря, а преосвященный долго не мог выходить на богослужение по случаю ожогов.

Подмигивали и подсмеивались.

Было и уныние.

— Чорт крест украл, крест — чортов, — шамкал сторож при железнодорожных мастерских Семен.

А солдатик с т о л о в е р поддакивал:

— Занял беспятый храм и престол Божий. Сквернит шишига дароносицу, плюет в чашу. И люди причащаются не кровью Христовой, а слюною Дьявола, и едят не тело Христово, а пакости Дьявола.

— Пропащая наша жизнь, вот что! — заключали слушатели.

После теплого цветистого мая наступила летняя жара.

Стала засуха, и ни один дождик не напоил жаждущих иссыхающих полей, запыленных лугов и зачервившихся садов.

2

В красный Купальский полдень ударил на Соборной колокольне торопящий набат: в городе вспыхнул пожар.

С разных концов загорелись целые улицы, битком набитые рабочим людом и всякою беднотою.

Маленькие деревянные домики и несуразно громоздкие неуклюжие ночлежные дома занялись, как сложенная в кучу труха.

Выбивалось пламя и пропадало в гигантских веретенах пыли. Пыльные веретена неслись по городу и вертелись. И словно чья-то рука пряла удушливую огнистосерую пряжу в раскаленном без единого облачка небе.

Врасплох застигнутые метались люди с отнявшимся языком и дико по-звериному выли.

И когда засвистел в урочный час фабричный свисток, каким чужим он был среди свиста огня и одиноких, как свист, резких криков о пощаде, о милосердии, чтобы детей спасти, чтобы добро уберечь...

Выносили иконы, верили: иконы заступятся и оградят от беды.

А пламя, крадучись и зудя, пробиралось в потайные уголки и, взлетая, обнимало все новые, еще целые жилища.

Пыльные веретена, синие в вечернем свете, неслись по городу и вертелись. И словно синий огненный бурав сверлил тяжелый воздух.

Вздувающееся зарево, вздрагивая разлилось над городом, над торчащими черными трубами пожарищ.

Горели железнодорожные мастерские и нефть.

С какою-то яростью, с каким-то ужасом, будто травленые, выскакивали горящие паровозы из своих железных стойл. И по всем путям свистели они отрывисто сухим свистом. И что-то вздыхало и шипело жутко и зловеще под их раскаленными колесами.

Рассыпчато и переливно фонтанами шумели горящие элеваторы. Кто-то, бесясь и хохоча во всю мочь, пересыпал закровянившиеся янтари зерен.

*

В чарую Купальскую полночь снова забил на Соборной колокольне торопящий набат: задымились в тесных переулках веселые притоны.

Огонь входил беспощадным гостем, огонь ревниво впивался в стены и тонким языком лизал потолок.

Обнаженные тела, — кто как попало, и изрезанные стеклом и в ожогах, падали с верхних этажей на мостовую.

Распаленные зрачки давившейся толпы ширились и лопались от пьянящего жара, и скрипящий безумный хохот мешался с мольбою и воплем.

Монах в темной одежде с неподвижным каменным лицом стоял в пекле пожара. Один он был бесстрастен, как полднем, так и теперь, и был страшен своим покоем. Кипящий в глубине его глаз огонь пронизывал огонь.

Тысяча рук хватались за его полы, за черные воскрылия клобука, тысяча рук ползли к его ногам:

— Ты, наш спаситель, сохрани нас!

— Ты, наш спаситель, спаси нас!

— Ты, наш спаситель, помилуй нас!

*

И в третий раз ударил на Соборной колокольне страшный торопящий набат, когда лениво отдуваясь кроваво-золотистыми лучами, солнце озарило землю: с двух противоположных концов города повалил грозный густой дым.

Горел острог.

Горела больница.

Какой был праздник для мстящего огня, вольного разрушающего живые гробы— проклятый острог!

Выломали арестанты железные двери, задавили решеткою тюремную стражу, и, избитые, подстреленные, поползли в город.

А в душных больничных палатах в желто-зеленом свете, среди пляшущих оранжевых солнц, поднялись пилящие стоны, и залился хохот безумных.

Огонь, как белка визжал и прыгал.

И вот перекинул свои горящие сети через больничную стену на бойню.

Содрогнулся город под допотопным воем, — выли звери в человечьей тоске.

А от острога вспыхнуло кладбище.

Вскрывал огонь тяжелым пылающим ломом глухие могилы.

И, казалось, мертвые, подымаясь из гробов, росли в черные столпы черного смрадного дыма.

Монах в темной одежде, с плотно сжатыми губами, скрестив руки, стоял среди озверелых толп и тоскующих зверей.

Вокруг его головы взвивались искры, как стаи золотых птиц.

Набат, не переставая, бил.

И люди бежали ободранные, обожженные, отчаянные.

Горели казенные лавки.

Сколько голодных бросилось на даровую водку! И огненная водка ела сердце. И в синем нестерпимом пламени корчились несчастные.

Набат, не переставая, бил.

От ужаса с ума сходили. Матери теряли детей. Дети таскали пудовые ноши. Никто не смел остаться под уцелевшим кровом. Бросали дома, выбирались на улицу. Искали поджигателей. Казалось, уж нападали на след... Какие-то женщины в темных одеждах шныряли в подворотнях домов. Разорвали старика сторожа Семена, неосторожно закурившего трубку. Солдатику-с т о л о в е р у оторвали руку. Кого-то в огонь бросили. Еще кому-то оторвали руку. Еще кого-то разорвали.

— Кто же? Где искать? Где поджигатель? — спрашивали монаха.

— Ты наш спаситель, сохрани нас!

— Ты, наш спаситель, спаси нас!

— Ты, наш спаситель, помилуй нас!

А на заборах черными буквами стояла надпись:

«З а в т р а н е б у д е т п о ж а р а».

3

Алая частая сеть дымно нависла над городом.

За алою сетью плыло кроваво-горящее ядро солнца, распространяя заразу, смрад и гарь.

Начиналось третье утро, — третий и последний день.

В ночь сгорел собор с мощами. Рухнула колокольня.

И горластый язык набата больше не звонил и не звал.

Уж нечему было гореть.

Догорал город.

Бродили отуманенные толпы. Всех, кто попадался под руку и на кого зуб имели, давили головнями.

И пьяные от ужаса, отчаяния и крови к ночи покинули город.

*

За городом на свалке, прижимаясь друг к другу, хоронились в последнюю ночь те, кто цел остался.

И монах в темной одежде стоял посреди уцелевших.

Но голосом никто не звал, не молил монаха, только глаза, сотни глаз устремлялись к его скрытому под рясою сердцу, прося помиловать.

И вот в первый раз дрогнуло недвижное каменное лицо монаха.

Монах снял с груди сосуд и, замочив кропильницу, окропил молящие глаза.

И в миг, как один сухой костер, загорелось всполье.

Огненная туча взорвала небо, рассекла ночь, и полетели искры с неба на землю и с земли на небо.

*

Была глубокая тьма далеко над сожженным городом. И лишь звезды глядели на землю, — на монаха в темных лохмотьях.

Он один стоял посреди пепла сожженного, проклятого, родного города, и его оскорбленное сердце горело пуще всяких пожаров и жестче всяких огней.

1903—1912

1922

СОДЕРЖАНИЕ